

10.335

1974



ლიტერატურა

გ რ უ ჯ ი ა

2

1974

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ, ИМЕЯ НА ТО ВСЕ ПРАВА, ИБО НА ПРАКТИКЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВСЕМУ МИРУ, ЧЕГО МОГУТ ДОБИТЬСЯ НАРОДЫ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ НА ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛИЗМА, НА ПРИНЦИПАХ ПОДЛИННОГО РАВЕНСТВА, БРАТСТВА И СВОБОДЫ. ЭТИ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ УТВЕРЖДАЛА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, СТАЛИ НОРМОЙ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

Л. И. БРЕЖНЕВ

ИОСИФ НОНЕШВИЛИ

САКАРТВЕЛО

Сакартвело, Сакартвело,
как случилось, что, взрослея,
ты все время молодеда
и взроследа, молодеда?..
Тебя солнце над долиной
каждоутреннее будит,
облик твой прекрасен ныне,
но — прекрасней

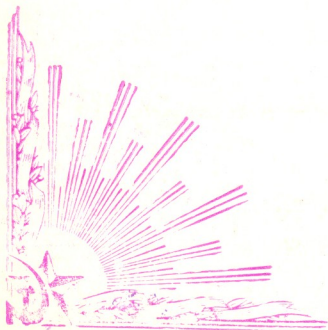
завтра будет!
Я тебя душой приемлю.
Бед и радостей изведед,
не забыл: за эту землю
кровь лилась отцов и дедов.

Потому взываю смело:
края лучше не ищите!
Возлюбите,

возлюбите,
возлюбите

Сакартвело!
Саблю часто заносили
над главой твоей, но было ль,
чтоб в тебе не стало силы
и воинственного пыла?..
Свежий, новый веет ветер,
ветер, к вечности причастный.
Труд нелегк наш, но светел —
он провозвещает счастье.
Раньше были одолими
вековечную враждою,
нынче — словно побратимы,
так, что не разлить водою.
Встанем рядом и — за дело,
шаг стремить вперед мы будем!
Славься в звонких гулах буден,
трудова Сакартвело!

Перевод Бориса ПЧЕЛИНЦЕВА



110001

10.335
1974



Литературная Грузия



Ежемесячный
литературно-художественный
и
общественно-политический
журнал

100.115



Орган Союза писателей Грузии

2

ФЕВРАЛЬ



19

Издательство
ЦК КП Грузии

74

204.166.6

«ლიტერატურული გრუზია»

(რუსულ ენაზე)



ქველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

წელიწადი მე-18

№ 2

თებერვალი, 1974 წ.

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორგანო

Главный редактор

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

Григол АБАШИДЗЕ,
Тенгиз БУАЧИДЗЕ,
Марк ЗЛАТКИН,
Лавросий КАЛАНДАДЗЕ,
Серго КЛДИАШВИЛИ,
Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
Владимир МАЧАВАРИАНИ,
Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,
Гурам ХАРАИДЗЕ
(заместитель главного редактора),
Владимир ХОМУТОВ
(ответственный секретарь),
Георгий ХУЦИШВИЛИ,
Эммануил ФЕЙГИН,
Алеко ШЕНГЕЛИА.

Год издания

18-й

**АДРЕС
РЕДАКЦИИ:**

ТБИЛИСИ, 38008, УЛ. ЛЕНИНА, 5

Приемная — 99-06-59

Главный редактор — 93-65-15

Заместитель главного редактора
93-13-57

Ответственный секретарь — 93-31-28

ОТДЕЛЫ:

Отдел прозы и очерка
(редактор КОРИНТЭЛИ К. Н.) — 93-31-43

Отдел поэзии и искусства
(редактор ЗИНИНА В. Б.) — 93-31-43

Отдел критики и публицистики
(редактор ДОБРОДЕЕВА Л. Т.) — 93-65-19

Рукописи объемов менее авторского листа не возвращаются.

Технический редактор Макалатия Г. Н.

Корректор Двораковская Н. Д.

© «Литературная Грузия». 1974 г.

Содержание:

СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ — 53 ГОДА! 5

ПОЭЗИЯ

ИОСИФ НОНЕШВИЛИ. Сакартвело. Перевод Бориса Пчелинцева.	2 стр. обложки
АЛЕКСИ ГОМИАШВИЛИ. Пушкин в Дарьяльском ущелье. Перевод Михаила Синельникова	7
ИВАН ТАРБА. У камина. Сванетия. Друзья. Перевод с абхазского Андрея Дементьева	8
ЗАУР БОЛКВАДЗЕ. Картина. Голос отца, погибшего на войне. «Мы плачем — от живой причины...» Перевод Владимира Леоновича	9
ШАЛВА САНГУЛИА. Солнце — всем! Перевод с абхазского С. Сорина	10

ПРОЗА

ЛАДО МРЕЛАШВИЛИ. Кабахи. Роман. Продолжение. Авторизованный перевод Элисбара Ананиашвили	11
АМИРАН АБШИЛАВА. Горы, горы Кавказские. Драматическая поэма в двух частях. Перевод и сценическая редакция В. Коростылева	23
ЯРОСЛАВ ИОСЕЛИАНИ. Тайны Сабтауна больше не существует... Рассказ	40
ИРОДИОН КАВЖАРАДЗЕ. Надиде. Рассказ. Перевод Майи Немировой	48

О ЧЕРК

ТЕНГИЗ ГАМКРЕЛИДЗЕ. Звездочеты наших дней . . . 54

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТЕОРГИИ ДЖИБЛАДЗЕ. Сплав знаний и творческой фантазии 60
ТЕОРГИИ АВАЛИАНИ. Боевое содружество защитников Родины 69
МЕРИ ХРИСТЕСАШВИЛИ. «Мне в этом крае все знакомо...» 75

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ГИВИ ГВЕНЕТАДЗЕ. Вклад литературоведа 84

В МИРЕ КНИГ

НУГЗАР ЦХОВРЕБОВ. Новое исследование о Галактионе 90
МАМИЯ ДУДУЧАВА. С позиции захваливания 92





СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ —

53 ГОДА!

НА БЛАГОДАТНЫЕ просторы нашей республики весна приходит рано. Где-то еще бушуют метели и дуют ледяные ветры, а тут — животворящее тепло солнечных лучей, пронзительная голубизна чистого неба, алое половодье первых гвоздик. И вся эта радующая глаз гамма красок словно сошла на ликующую грузинскую землю с ее государственного флага. Вот уже 53 года победно реет он над Советской Грузией. Реет с февраля 1921-го, с того его незабываемого дня, когда власть Советов, власть трудового народа, свергнувшего клику меньшевистских прислужников капитала, на веки веков восторжествовала в Грузинской Советской Социалистической Республике.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции, открывшая новую главу в истории межнациональных отношений в нашей стране, в мировой истории создала реальные возможности для всестороннего развития национального вопроса на пролетарской, подлинно классовой основе, и советской социалистической Грузии явилось закономерным процессом. Равной в созвездии равных стала наша республика бедный и прекрасный Союз Советских Социалистических Республик. Равной в созвездии равных стала наша республика бедный и прекрасный Союз Советских Социалистических Республик. Равной в созвездии равных стала наша республика бедный и прекрасный Союз Советских Социалистических Республик. Равной в созвездии равных стала наша республика бедный и прекрасный Союз Советских Социалистических Республик.

В светлый и радостный день 53-й годовщины в Грузии ее гордый и трудолюбивый народ, что за всю его многовековую историю с такой полнотой не расцветал творчеством и честью, талантом и мастерством, со своим вкладом в труд никогда прежде не был полнотой, не были подняты и оценены таланты советских людей восхищает сейчас грузинской земли, но прежде была она мозолистыми, нагруженными на Дарьяла. И в звездном венце, в золотом вечеряющем свете Восходит Казбек, словно явное чудо земли. И снова душа твоя, чистая звездная слава, В ущелье Дарьяла теснится и мчится, как лава.

Да, что и говорить, Грузия, с первых дней революции, словно работала за десятилетия. Поистине вкладом в историю Грузии. Зримое характерно за девять лет. План работы был выполнен на 140 миллионов. Поистине зательство. Поистине составит

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА



Живите с миром!

Картина

Рисуй картину: сумерки земли,
 пологий долгий свет. Багровый
 сланец
 над родником прозрачным
 надколи.
 Для ясных лиц крестьян найди
 румянец,
 в котором краски полдня
 запеклись,
 и тень найди, где вся судьба
 сгустилась
 и словно эти горы очертилась:
 там свет пылает, там безмерна
 высь...

Голос отца, погибшего на войне

Убить легко, мой сын, — пылинку
 сдунуть.
 Родился ты — я умер на войне.
 Вы не умеете о смерти думать,
 вам некогда, живым, — не то что
 мне...

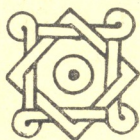
Живи! Живите с миром, заклиная!
 А я истлел в утробе земляной.
 Как странно, сын, что я тебя не
 знаю,
 как хорошо, что говорю с тобой...

* * *

Мы плачем — от живой причины:
 от радости или кручины,
 открыто или затаясь —
 или мрачней, как мужчины,
 или как женщины — светясь.

Жив человек — он плакать может!
 Еще недопито вино,
 и честь зовет, и совесть гложет...
 Еще не все, что нас тревожит,
 у жертвенника сожжено.

Перевод Владимира ЛЕОНОВИЧА



Абхазскому поэту Шалве Михайловичу Сангулиа исполнилось 50 лет. Редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Литературная Грузия» поздравляют поэта и желают ему дальнейших творческих успехов.

Шалва САНГУЛИА

Солнце — всем!

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

Я лучшую песню пою о тебе,
Москва — дорогая столица!
Ты — солнце надежды в народной судьбе,
К тебе все живое стремится.
Я думой с тобою и сердцем с тобой
На Красную площадь вступаю.
Слова мои, как черноморский прибой,
Грохочут, теснясь и вскипая.
Дорога моя широка и светла,
Я все, что задумал, исполню.
Мой край благодатный теплынь обняла,
Подобная ясному полдню.
Богатства не счесть у подножия гор:
Сторицей за трудное дело
Раскинулся чайных плантаций ковер,
Покрылась пылью «кизабелла».
Мой край благодатный в объятиях весны,

Но зла не забыл векового:
Кодорские горы и люди Апсны
Врага сокрушат хоть какого.
В краю моем горном героев на счесть,
Блестят ордена и медали.
Любимой отчизны свободу и честь
Не раз мы в боях отстаивали.
О, как ты, Абхазия, мне дорога —
Вершины, долины, ущелья,
Твой ропот протяжный, река Галидзга,
Копры твои, город Ткварчели!
Я думал о том, что безмерно люблю
Любовью суровой и нежной,
И шел по Москве, направляясь к
Кремлю,

Окутан порошею снежной.
Мне теплым казался кружившийся снег,
Летевший на землю несмело.
Здесь ветер Архангельска сдерживал бег,

Дыханье Сибири теплело.
Прекрасен рассвет над январской
Москвой,

Детишек проснувшихся лепет:
У них, малышей, тоже день трудовой —
Вон снежное чудище лепят.
А снег над рекой, Мавзолеем, Кремлем
Снижался, кружась, и казалось,
Что чайка за чайкой, белея крылом,
Бессмертного камня касалась.

Казалось, все белит прибой бурн,
Казалось, что чайки присели
Не только на камень бетонных трибун,
Но даже на стройные ели.
Я шел, багровели гвоздики в руках,
Всходил по гранитным ступеням.
А рядом со мною на всех языках
Звучало задумчиво:

Ленин.
Согласен сердце человеческих стук,
Текла бесконечная лента.
И мне не случайно припомнилась вдруг
Абхазская наша легенда.

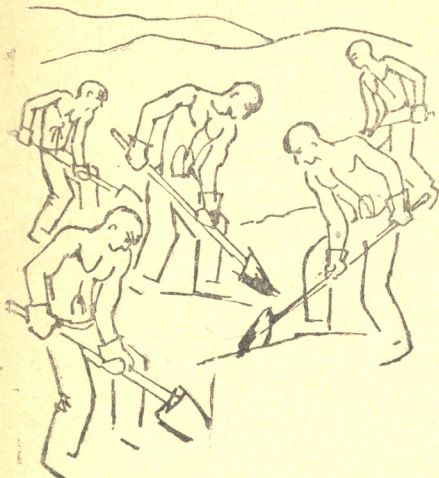
* * *

...Сплошным виноградникам нету конца,
Вершины Кавказа над ними.
Тихонько кричат от плодов дерева,
Апсны — моей родины имя.
Абрскил, всем народом любимый герой,

Любил свою родину свято,
Вставал за нее и за горцев горой,
Сражался с бесстрашьем солдата.
Как будто два солнца, сияли глаза.
О карах ли думать грядущих
Тому, кто решил прогнать, как гроза,
Над сворой мерзавцев имущих?
Он жил и трудился среди пастухов,
Работал усердно и много,
И как-то, до первых еще петухов,
Пошел воевать против бога.
Но божий прислужник готовил ему
Засаду в холодной пещере.
Там факел задули, все кануло в тьму,
Захлопнулись ржавые двери.
Умолкла в глубокой теснине река,
Умолкла в печали природа.
Но славный Абрскил с той поры на века

Остался в сказаньях народа.
Ночами входил он в тревожные сны,
Днем солнцем сиял над лугами,
За счастье Абхазии — древней Апсны
Людей звал сразиться с врагами...

Перевод с абхазского С. СОРИНА



КАБАХИ

●
Р о м а н
●

— Да, знали. Но совместная работа и желание сделать что-то очень трудное, почти невозможное, были для них стимулом. И еще то, что дядя Нико оказался умнее, чем я думал, — сразу же согласился, когда я предложил ему выписывать моим работягам трудовни по удвоенной норме.

— Ребята знают об этом?

— Конечно. Нам даже привезли резиновые сапоги.

— Неужели дядя Нико настолько расщедрился?

— Нет, это, пожалуй, не он придумал, ни за что не поверю... Кажется, я знаю, кому этим обязан, — недаром приезжал к нам Теймураз. Если и дальше будет такая погода, до середины ноября управимся.

— А если погода испортится?

— Все равно, до зимы кончим.

— Скажи, скоро ли после встречи на болоте ты догадался, кто я?

— Я же говорил — почти сразу, как только увидел тебя у дяди Нико.

— Почему же ты сразу ушел?

— Не знаю. Инстинкт подсказал мне, что надо сейчас уйти.

— А потом почему ты избегал меня?

— Очень уж враждебно ты меня встретила. И притом я не был уверен, что ты не полюбила кого-нибудь другого.

— Я любила одного тебя. Всегда любила. Все время, начиная с той самой ночи, — и в школе, и в институте, и после... Я слышала, что ты ходишь по свету и сражаешься со злом, как Дон Кихот?

— А ты не смейся над Дон Кихотом, никогда не смейся! От века именно донкихоты были зачинателями всех великих дел в мире. Может, то, что мы поднялись сюда, к старой крепости, ты тоже считаешь донкихотством?

— Что ж, так оно и есть. Это место непригодно для виноградной лозы.

— Почему? Ведь лоза именно такие места и любит!

— На этих кручах и каменистых склонах трудно устроить террасы.

— Трудностей я никогда не боялся. Как только покончим с болотом, приведу моих ребят сюда.

Русудан усмехнулась.

— Ну уж, на этот раз их не обманешь. Стадион в этих скалах?!

— А их и не придется обманывать. За осень и зиму мы все тут расчистим.

— Я не шучу, Шавлего. Земли левого берега Алазани сильно отличаются от правобережных. Здесь преобладают осадочные, безизвестковые почвы. А на возвышенностях, таких, как эта, почвенный слой неглубок и щебнист. Может

быть, посадить лозы и удастся, но главное ведь обработка, уход. Вон поемотри вокруг — тропки, протоптанные скотиной, усеяны щепнем и камешками. И из всех трав растет только осенчук.

— Разве обязательно сажать именно виноград? А если плодовые деревья? Это и легче, и уход требуется не такой тщательный. Знаешь, какие деревья вырастают в расщелинах скал? Я видел в горах. Древесным корням немного нужно — достаточно самой узкой трещины в скале.

Русудан покачала головой.

— Дуб и дзелква, может быть, и смогут тут укорениться, но яблоня, груша, персик — культурные растения. Захиреют они без воды.

— Без воды? Можно на Берхеве, против крепости, поставить водокачку.

— Но тощие земли?..

— Эх ты, агроном! Как будто не знаешь лекарства для тощей земли!

— Ну, что ты говоришь, Шавлего! Село никак не может клуб выстроить, а ты хочешь поставить тут водокачку!

— Все зависит от степени желаний... Постой, постой, Русудан... Что случилось с теми отрезками земли, которые после ревизии оказались превышающими норму и были отобраны у владельцев? А прежние? Как вы их используете? Насколько мне известно, на них ничего не произрастает, кроме бурьяна и крапивы. А ну-ка, сложи их вместе, сколько получится! Что молчишь? Сказать нечего? Отобрать у крестьянина земельный участок и оставить его неиспользованным — это, по-моему, равносильно убийству.

— Ты так глядишь на меня, словно я во всем виновата. Собрать эти мелкие участки, сложить их воедино никак нельзя, в том-то и беда. Прежние владельцы не имеют права их обрабатывать, а колхоз не может — из-за того, что они раскиданы между приусадебными участками. Иногда подбрасываем здесь или там такой узкий лоскут земли Ефрему или еще кому-нибудь, как милостыню. Но об этом действительно стоит призадуматься.

— Не призадумываться надо, а действовать. Мы оба — и ты, и я — члены правления. Пойдем сегодня же к дяде Нико.

— Ты забыл, что сегодня воскресенье.

— Насколько мне известно, он и по воскресеньям вечерами сидит в конторе. А нет, так пойдем к нему домой.

— Я хотела бы и Реваза взять с собой... Но Реваз домой к нему не пойдет.

— Да, не пойдет — ты права. И думаю, не одна только гордость тому причиной.

— Ты имеешь в виду Тамару? Хорошая девушка, но есть у нее один недостаток: всякого, кто смеет возражать ее отцу, она считает своим врагом. Вот и на меня она косо смотрит именно по этой причине.

— Ого! Это уже важнее, мимо этого пройти нельзя.

— Реваз — парень боевой. Нынешнюю свою позицию — этакое безразличие ко всему — он недолго выдержит.

— Да на что мне сдался Реваз! Я уже махнул рукой на Реваза. Вчера весь день провел у него, уламывал, уговаривал — да только все это как об стенку горох. Какой-то он замкнутый стал, угрюмый.

— Очень на него подействовала эта история. Я даже не думала, что так его подкосит. Он ведь гордый, самолюбивый — вот и не смог снести это гнусное обвинение.

— «Надо выстоять в беде...», как говорит Руставели. Я человек действия. Ну-ка, вставай и осмотрим вместе все эти кругосклонки. Мыслимо ли, чтобы здесь нельзя было устроить террасы и посадить фруктовые деревья! Завтра же подкачусь к дядюшке Фоме, посоветуюсь с ним. Надо подобрать засухоустойчивые породы. И привить их на диких подвоях — на лесных грушах и яблонях. Ну, поднимайся.

— Дай мне руку, помоги встать.

Шавлего наклонился над девушкой, поцеловал кончик ее точеного носа и подхватил ее на руки.

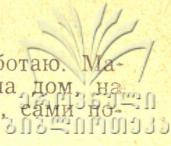
ГЛАВА ВТОРАЯ

Секретарь райкома с шумом придвинул стул и сел к столу.

— Скорее вы дадите мне поесть? — он посмотрел на жену, сидевшую с книгой в руках в глубоком кресле, и сдвинул брови. Она даже не подняла глаз от страницы.

«Прямо покойница! И как это я умудрился в нее влюбиться?»

Он тут же вспомнил, что женился не по любви.



— Кто платил?

— Да у меня и денег нет! Откуда им взяться? Я еще не работаю. Мамочка не работает, жена не работает, ваша зарплата вся тратится на дом, на семью... Мамочка еле выкраивает мне карманные деньги. Ну, папуля, сами не думайте...

— Я тебе никакой не папуля! Кто платил?

— Ну, что вы так настойчиво... Да никто и не платил. Хозяин сказал: «Из уважения к твоему тестю...».

— Я тебе покажу тестя!.. Не размахивай руками у меня перед носом, сиди прямо, не выхляйся!

— Что же, разве я сижу не так, как следует? Что вы на меня кричите, точно я солдат какой-нибудь! Не собираетесь ли меня сменить, папуля?

— Чего бы я не дал, если бы подвернулась такая возможность! Садись и слушай меня.

— Я лучше постою — по-солдатски.

— Садись, говорю!

— Раз я солдат, так и буду стоять.

— Вот что я тебе скажу. Слушай и заруби себе на носу: чтобы с этого дня ноги твоей не было ни в одном ресторане, ни в одной столовой в Телави... И не только в Телави — но и во всем моем районе. Если проголодаешься — в доме у меня всегда найдется чем набить твоё брюхо... Немедленно устраивайся на работу — любую, хоть мусорщиком.

— Огромное спасибо за такой почет.

— Не прерывай меня! Если не хочешь служить — поступай в институт, хоть на заочное отделение. Можно в этом же году, вот сейчас. Еще не поздно.

— И за это спасибо. Всякому порядочному человеку вполне достаточно одного факультета. Второй-то зачем?

— Ты эти свои рассказы оставь для других. Меня на мякине не проведешь, я стреляный воробей.

— А что, непременно нужен диплом?

— Не диплом, а образование.

— Образование у меня великолепное.

— Для афериста — да. Так слушай! И мотай на ус. Чтобы больше никогда, ниоткуда, ни из какого колхоза не дошло до меня, что ты явился и, пользуясь моим именем, увез кур, поросят или любую другую живность. Запомнил?

— Запомнил. Дальше?

— Если еще хоть раз узнаю о чем-либо подобном, ни перед чем не останюсь, заставлю твою жену и твою тещу таскать тебе передачу в тюрьму.

— Ах, какой у меня добрый папочка! Только не забывайте — земля круглая и вертится. И в тюрьму всякий может попасть. И на здоровье не так уж полагайтесь — тюрьма есть тюрьма. И без передач еще никто оттуда не выходил.

* * *

— Что ты залег, как медведь в берлоге?

— Что делать, если податься некуда, а со всех сторон лают собаки!

— Когда начнешь лапу сосать?

— Если имеешь в виду мою собственную — так, пожалуй, скоро.

Шавлего рассмеялся.

— Хозяйственный ты, видать, человек. Любишь лозу, виноградник. А в смысле уваживания, тут у тебя не поймешь что — какое-то новшество.

— Тут овечий помет, — Реваз стоял, опершись на мотыгу. — Это лучшее навоза. Надо рассыпать вокруг куста, у основания, и мотыгой перемешать с почвой.

— Где ты его достал? Говорят, овечий помет привозят из Ширакской степи. Когда ты туда ездил?

— Я там не бывал. Если интересуешься ширакским овечьим пометом, расспроси братьев, племянников и прочую родню Нико. А я пока еще с ума не сошел.

— Как его доставляют оттуда? На чем?

— Уж, конечно, не в карманах. На колхозной машине.

— А ты где раздобыл?

— На Берхеве.

— Что? Я вижу, тебя еще и острить твоя фрау научила!

— Нет, этому я здесь научился, в Чалиспири.

— Следует приветствовать. А еще чему тебя тут научили?

— Научили многому... Но я не шучу. Помет я принес с Берхевы. Целую неделю таскал в большой корзине, на спине. С утра до вечера.

— Как это так — с Берхевы? Откуда там...

— Когда нашу колхозную отару пригнали с горных пастбищ, то, пока не переправили ее в Шираки, держали овец вон там, под той скалой, в русле Берхевы. И дядюшка Фома дал мне совет: это же, говорит, превосходное удобрение, не спускай его в реку, виноградник твой по соседству — собери и, сколько сможешь, унеси к себе.

— И ты собирал там, в этом каменистом русле?

— Там и собирал.

— Среди этих бульжников?

— Да, среди бульжников.

Шавлего больше ничего не спросил — посмотрел вдоль рядов виноградных лоз и похвалил мощные побеги.

— Побеги и вправду хороши. На будущий год окончательно войдут в силу.

— Да они уже и сейчас развиты на диво. Есть у тебя еще мотыга? Я подсоблю.

— Спасибо, я и один управлюсь.

— Я серьезно говорю. Хочу проверить, какой ты удалец, когда орудуешь мотыгой.

— Нет у меня второй мотыги.

— Попроси у соседей.

Реваз угрюмо усмехнулся.

— Один у меня сосед поблизости — а он даже веревки мне не одолжит, если захочу повеситься.

— Разве можно быть в ссоре с соседом?

— А я и не ссорился. Это Габруа — двоюродный дядя нашего уважаемого Нико.

— Ладно, я сам пойду к нему за мотыгой.

Земля была очищена от травы, гладка, как ладонь, и мотыга легко врезалась в нее. Легко и быстро продвигались вдоль рядов лоз оба работника, оставляя за собой черную рыхлую полосу перевернутой земли.

— Почему ты разут? Уже прохладно.

— Ничего, я привык... Там, на болоте. Скажи мне вот что: до каких пор ты будешь стоять этак в сторонке, оставаясь безучастным зрителем? Неужели одна-единственная неприятность так тебя сломила и обезволила?

— Столкнулся я со злобой людской и потерял веру.

— Не клевети! Когда половина Чалиспири явилась в райком и кричала там о твоей невинности — это что, не люди были?

— Да это ведь ты, твоя заслуга. Без тебя ни одна живая душа не побеспокоилась бы...

— Не я, так нашелся бы кто-нибудь другой. Свет не без справедливых людей — быть не может, чтобы они вовсе перевелись. Ну и что же, по-твоему, диверсии — это достойная месть?

Реваз остановился, усмехнулся с горечью.

— Вопрос меня не удивляет. Но почему ты-то не изумляешься, что я в ответ не тресну тебя мотыгой? Может, ты полагаешь, что вино в марани у Нико тоже я вычерпал?

— Нет, насчет вина у меня ничего такого и в мыслях не было. Тут обыкновенное воровство, мелкая пакость. А вот подложить динамит под машину — в этом что-то есть... это не из корысти. Ни мне, ни тебе. Добытое нечестным путем пусть пропадает. Хотя так в сущности можно и о вине сказать.

Реваз ничего не ответил. Молча продвигался он вдоль своего ряда и бережно, осторожно подмешивал удобрение к почве у основания виноградных кустов.

— Сырой помет не сожжет корней?

— Он не сырой. Целую неделю лежал в винограднике, рассыпанный на солнечном припеке.

— Там, на Алазани, возле старых, разрушенных хлебов — целые горы навоза. Почему отсюда не берешь?

— Упаси меня бог пальцем притронуться к колхозному имуществу.

— А почему сам колхоз этого навоза не использует?

— Как будто ты не знаешь председателя! Он же собака на сене — ни себе, ни другим. Уши прожужжала ему Русудан насчет этого навоза, а я так челюсть вывихнул — столько об этом говорил. Да что пользы!

— Зачем же он зря губит добро?

— Ссылается на недостаток транспорта. А какие-то люди тем временем потихоньку растаскивают.

— Почему на партийном собрании вопрос не поставите? Ведь коммунистов у вас достаточно.

— Кто решится сказать? Разве что я или Саба Шашвиашвили, бываю, поднимем голос, а остальные только кивают — что им ни скажут, со всем соглашаются. В секретари партбюро Нико провел бухгалтера. Ну уж эти двое понимают друг друга без слов. Что тут поделаешь? Помнишь, как он тогда с этой вашей газетой... Кабы не приехали из Телави на комсомольское собрание дико и Теймураз и не почистили его с песочком — он и вторую разорвал бы ключья у вас на глазах. Ух, и порадовали вы меня газетой своей, даже полегчало на душе, когда читал ее.

— Если этого достаточно, так мы тебя еще порадуем. А почему ты сам не хочешь других порадовать?

— Прежде и я в долгу не оставался.

— А теперь?

— Теперь все иначе обстоит. Авторитет у меня потерял.

— Не говори вздору, Реваз! Опытный, усердный работник, честный человек нужен всем и всегда.

— Нет, пока Нико будет сидеть председателем, я к конторе близко не подойду. В наших селах и простые колхозники прекрасно живут. Виноградник колхозный ко мне прикреплен — я буду ухаживать за ним как могу. Весной возьму участок под кукурузу, засею. Да много ли мне нужно? Нас ведь всего двое: я да моя мать.

До вечера они промотыжили весь участок. Кончив работу, стукнули мотыгами одну об другую.

— Такого бы работника, как ты, да иметь почаше...

— А ты просто как вол на землю накинул! Замучил меня!

— Что у нас на ужин, мама? — крикнул Реваз, едва войдя к себе во двор. Женщина в черном, склонившаяся в галерее перед домом над очагом, распрямилась, затенила рукой глаза.

— Лобио, сынок, что же еще.

— Лобио нам не подойдет, мама. У меня сегодня был на подмоге такой работник, что на него одного надо бы целого барана. Ну-ка, отодвинь в сторону этот горшок и поставь на треногу котелок с водой. Сейчас принесу тебе кур, ощиплешь их.

Шавлего стал отказываться.

— Хватит с нас и лобио! Будешь теперь за курами гоняться?

— Гоняться и не подумаю. — Реваз вошел в дом, возвратился с ружьем в руках и двумя выстрелами уложил двух молоденьких курочек, копавшихся в мусоре в уголке двора. — Постреляю хоть тут, на охоту никак не выберешься. — Он переломил ружье, выбросил из стволов растрелянные гильзы.

— Ого, вон какая у тебя штука в доме! — Шавлего взял у Реваза ружье и стал рассматривать с жадным любопытством.

Ружье было трехствольное. Два нижних ствола — шестнадцатого калибра, а верхний заряжался винтовочными патронами.

— Где добыл?

— Давай уж похвастанюсь перед тобой. Там на нем написано, гляди.

Шавлего посмотрел повнимательней и нашел на стволе, рядом с изображением антилопы, пасущейся на опушке джунглей, надпись на русском языке.

— Кто такой генерал Константинов?

— Так звали командира нашей дивизии.

— Вот это ружье! Для наших гор — о лучшем мечтать нельзя. Как-нибудь выберу время, пойдем на медведя.

— Когда угодно.

Реваз унес трехстволку в дом, взялся за топор и изрубил на дрова валявшийся у очага старый кол.

— Дал бы воде вскипеть, сынок, а то цыплят не ощиплю толком, пух не сойдет.

— С людей шкуру вчистую снимают, матушка, а ты цыплят не сумеешь ощипать?

Шавлего окинул взглядом кучу камней и сел на большой валун.

— Сколько ты камня да песка заготовил! Когда же строиться будешь?

— Нынешней осенью, — Реваз подошел, сел с ним рядом. — До сих пор все боялся, что с колхозом да бригадой строить будет недосуг. Но теперь я свободен, как птица.

— Ты нам черепицу дал для Сабеды — теперь тебе самому не хватит.

— А может, и хватит.

— Если нет — дадим из заготовленных для клуба. Теперь все больше жестью кроют.

— Не нужно, ничего мне от них не нужно! Сами найдут, куда лишнее девать. А я в случае надобности как-нибудь уж достану.

— Когда соберешься строить, сообщи нам, поможем.

— Заранее приношу глубокую благодарность.

— А это что там, под навесом? И зачем ты эту канаву прорыл?

— Куб для водки устроиваю.

— Что? Водку гнать у себя собираешься? Частное хозяйство, что ли, заводишь?

— Не для общего пользования, не для продажи. Только для себя, для дома.

— Зачем тебе столько мучиться? Есть ведь у колхоза аппарат? Отнеси им чачу, переговят. Плату жалеешь?

— Ничего я не жалею, только с этим человеком дела иметь не хочу. До сих пор мне всегда в колхозе водку гнали. А теперь он распорядился, чтобы меня и близко не подпускали к аппарату.

— А ты ступай в другие колхозы — в Пшавели, в Саниоре, в Артану или в Напареули.

— Плохо ты знаешь дядю Нико... У него со всеми председателями это дело согласованно. Кто из-за меня пойдет ему наперекор?

— Значит, вот уже до чего дошло?

— Да. И даже еще дальше... Послушай, если поставишь магарыч, я и тебе перегоно.

— И платы не возьмешь?

— На это не рассчитывай! И дрова твои, и все делать будешь сам. Я предоставляю только место и куб.

— Я еще никогда винокурением не занимался.

— Да я помогу тебе — научу, как все надо делать.

— Вот это уже лучше. Но почему ты так спешешь с перегожкой?

— Если буду строиться — поднести каменщикам поутру, перед работой по стаканчику — самое подходящее дело.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

100115
Конь одним прыжком выскочил на высокий берег и пошел шагом по краю скошенного луга между виноградниками и широким каменистым руслом реки.

До самой тропинки дотягивались ветки ежевичных зарослей, покрывавших прибрежные скалы.

Из виноградника послышались громкие голоса.

Эрман что-то доказывал Иосифу Вардуашвили и в подкрепление своих доводов усиленно размахивал руками.

Нико заинтересовался их спором и повернул лошадь к рядам виноградных кустов. Только он собирался въехать в междурадьё, как появился еще один человек и подошел к спорящим.

Председатель узнал бывшего бригадира, сдвинул с неудовольствием брови и повернул коня назад, на тропинку.

«Правильно я сделал, что вернул Сико к его пастве и передал бригаду Эрману. Двух зайцев убил сразу: теперь и Эрман мне благодарен, и виноградники в опытных руках».

Конь выбрался на поле, усеянное камнями. Когда-то здесь протекала Берхева. Теперь поле поросло бородачом и кукулюю, но среди травы виднелись серые камни и валуны, напоминающие о тех временах.

Стук подков вывел Нико из задумчивости. Он посмотрел на запаханый и забороженный клин, где недавно еще топорщился дремучий ежевичник, и долго не сводил с него взгляда.

Сколько раз и ему самому приходило в голову выжечь эти непроходимые заросли, но почему-то он ни разу даже разговора такого не заводил. А комсомольцы приписали себе эту заслугу — расширение пахотной площади колхоза. Немного, правда, каменисто, но зато — целина, полная сил и соков земля не сколько лет будет давать изрядный урожай. А потом — пойдет под удобрение, не останется бесплодной.

Жеребец миновал ежевичник и пошел по проселку среди полей.

День был мгlistый, необычно теплый для конца октября. Пашни были черны, как деготь.

Пониже пашен переливались светлой зеленью ранние всходы. В конце зеленоющего поля виднелись выстроившиеся цепью женщины-полольщицы.

«Засуха и град! Град и засуха! Не бывает такого года, чтобы или солнце не сожгло мси поля, или не ударил где-нибудь град. Права Русудан. Пока мы не примемся основательно за сев по жнивью, за зимние корма нельзя будет рассчитывать. Нынешним летом засуха помешала, а на будущий год... Да, что там! Нет, что принесет будущий год! На ферме не хватает коров, а план с каждым годом все увеличивается и увеличивается. Нет, надо во что бы то ни стало закупить еще коров у колхозников и служащих, а то снова ударю лицом в грязь, окажусь в районе среди остальных. А овец на зимние пастбища я отправил слишком рано. Но что же было делать — не загонять же их в виноградники облизывать кусты! А луга все пересохли, сгорели от жары. Впрочем, может, так оно и лучше — окот наступит раньше, ягнята успеют подрасти, окрепнуть, и при перегоне с зимних на летние пастбища меньше будет урону».

Председатель колхоза насмешливо сощурил глаза и, ухмыляясь, расправил большим пальцем усы.

«Что это еще выдумали зоотехники и ветврачи — искусственное оплодотворение! Разве природа дура? Как ею установлено, так, по-видимому, и нужно, так вернее. Для природы мы все: люди, животные, насекомые — одно, и она обо всех заботится в равной мере. Себялюбив и безжалостен человек! Лишь бы все устроить к своей выгоде — ни перед чем не остановится. И любую несправедливость назовет высшей справедливостью!»

Из-за поворота, скрытого рощицей, окаймляющей Берхеву, выехала грузовая автомашина. Поравнявшись с председателем колхоза, она остановилась. Из кабины высунулся Лексо.

Председатель глянул на Дата, сидевшего в кузове, полном кукурузных початков.

— Что это ты — домой собрался? Кукурузу собранную караулить не нужно?

— Нужно. И караульщики у нее есть.

— Оставили там кого-нибудь для этого?

— Да весь народ там, срезают стебли.

— Я не о народе спрашиваю. Кукурузу караулит кто-нибудь?

— Дедушка Гига сказал: узжай, я тут побуду.

— Гм! — буркнул председатель. — Чего ты взгромоздился на самый верх, разве нет места в кабине?

— Что я, окорок? Зачем мне в этой кабине коптиться?

— Какой окорок, о чем ты? — Нико подошел к машине и заглянул в кабину, полную сизого дыма. — Что это значит, что случилось с машиной, Лексо?

Тот пожал плечами.

— Вот задымила. Уже вторую езду так.

— Что-нибудь в моторе?

— Наверно, в моторе.

— Много еще осталось возить?

— Концов пять придется сделать.

— Сколько сегодня успеешь?

— Да что уж сегодня, не задохнуться же мне в этом дыму! Приеду в деревню, разберу мотор.

— С тех пор, как ты ткнулся тогда весной в дом, с этой машиной что ни день — всякие неполадки.

— Да что вы никак не можете забыть про эту аварию, дядя Нико! Просто, подсунули мне завалившую развалину, а других посадили на новенькие машины.

— Ни одна из них не лучше этой. Надо бережно с имуществом обращаться. Погляди на других, поучись аккуратности.

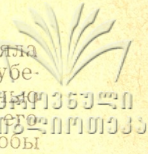
— Чтоб мне провалиться на этом месте! Неужели кто-нибудь бережнее меня с машиной обращается? Да сидел бы тут за рулем другой, от нее бы давно один только лом остался.

— Ладно, довольно оправдываться. Поезжай, может, сегодня успеешь еще две ездки сделать и завтра кончить с доставкой кукурузы. Другие машины другими делами заняты. Что-то пасмурно становится, как бы не настали непогожие дни. Разобрать мотор успеешь и после.

Лексо смотрел с минуту вслед председателю, удалявшемуся на лошади все так же — шагом, враскачку, потом в сердцах сплонул, и голова его скрылась в кабине.

Мотор зафыркал, машина сорвалась с места, и сидевший в кузове Дата едва не ткнулся носом в кукурузные початки.

Похоже, что разучился Нико ездить на лошади. Ехал председатель и дивился: неужели раньше, до того как купить машину, он так вот, черепахой, ползал по горам и долам? Да и вообще коня он седлал только едучи в горы, или во время распутицы, или когда лил дождь, а в такую погоду, как сегодня. —



верхом? Но что поделаешь... Всякий раз сердце председателя словно опалила огнем мысль об его искореженной машине. Та проклятая ночь оказалась рубежом. Нет теперь прежнего Нико — есть лишь председатель, у которого ночью крадут стельную корову, которому поливают двор и огород собственным вином, председатель, которому подкладывают под гараж взрывчатку, чтобы вместе с машиной взорвать и хозяина, да заодно пришибают его любимую сторожевую собаку. Что же это? Как могло случиться такое? С чего все началось? Неужели все это сделал один человек — Реваз? И по-прежнему торчит этот Реваз перед носом у председателя, по-прежнему своевольничает в колхозе, иные потихоньку хвалят его за удачу. Эй, плохо вы знаете Нико, пустобрехи! Но может быть, он сам себя плохо знает? Не преувеличивает ли он свои возможности? Не состарился ли? Нет! Нико пока тот же, что был, и не сегодня-завтра враги его убедятся, что не притупились когти у барса! Почти мальчонкой был он, когда, служа в батраках, показал хозяину, что с ним шутить опасно! А теперь Нико сам хозяин, и увидите — под силу ли ему это!

Там, где были навалены кучей кукурузные початки, председатель нашел только полщика Гигу.

— Зачем ты Дата отпустил?

Гига парня не отпускал, но перед председателем...

— Что тут делать двоим? Я подумал, пусть паренек погуляет, удовольствие получит.

Нико больше ни о чем его не спрашивал — повернул коня и направился к ручью.

Поодаль расстиралось бурое, покрытое белокопытником болото. Сухой тростник отливал на расстоянии серо-голубым.

«Все сообразила, как надо, — что верно, то верно. В уме девочке не откажешь, — думал председатель. — Столько земли — это не шутка. Правильно говорит Русудан: если три года сеять здесь арбузы, колхоз сразу встанет на ноги. А потом, как говорится, по достатку и траты: и клуб построю, и стадион, и лесопилка электрическая у меня будет своя. А те отрезки... О, те отрезки! — Вот теперь Нико понял, почувствовал, что значит отобрать у крестьянина хоть самую малость земли — той земли, которую он на протяжении долгих лет поливал своим потом и считал своим достоянием. — Может, все перековать, попробовать сделать так, как мне тогда посоветовали? Но кто же уступит свой приусадебный участок, чтобы его соединили с этими обрезками и сдали весь этот большой, цельный кусок колхозу? А если уж уступит, надо взамен отмерить ему если не лучший, так хоть не худший и такой же удобный участок. Ну, а все же, как объединить все эти полоски? По-моему, я удачной придумал: у кого отобрана полоска, тот пусть ее и обрабатывает и урожай сдает колхозу, а ему трудодни будут начисляться. Правда, рассчитывать будет сложно, но так все же лучше... Мне больше другое соображение Русудан понравилось — устроить на горе Верховье плодовый сад. Раньше, говорят, там лес был. И ключи из этой горы били, оттого и название такое — «крепость у Верховья». И сейчас там видны следы прежних родников и ручьев. А потом лес вырубил, и родники пересохли. Ну конечно — а как же им было не высохнуть?»

Нико остановил лошадь и, ухватившись за луку седла, приладил ладонью усы.

Кобылка подняла голову, раз-другой мотнула ею, дернула узду, но седок не отпустил повод, и лошадь насторожилась уши.

«Тут Русудан без меня разберется. Лучше, пожалуй, сейчас, пока не смерклось, подняться, не откладывая дела, к крепости, осмотреть все места вокруг — годятся ли они под сад? Зачем тратить внизу, в долине, пять гектаров хорошей земли, если можно посадить плодовые деревья на горе? А на тех пяти гектарах устроим виноградник. Мысль, кажется, неплохая... Но где я возьму деньги на водокачку?»

Когда Нико поднялся на пригорок Чахриела в верхнем конце деревни, ему казалось, что уже спускаются сумерки. Но он успел объехать все окрестности и подножье горы Верховье — а день еще не сменился вечером.

«Очень рано я встал сегодня — потому так вышло. Ведь вот никак не удалось купить себе ручные часы. А может, их тоже сочли бы нужным взорвать?»

От воспоминания о взрыве гаража снова неприятные мысли закопошились в голове у председателя.

«Разве можно это простить? Куда мне еще увезти, где спрятать бедную девочку? И ведь выбирают каждый раз такое время, когда она дома! Не будь я Нико, если спущу Ревазу его проделки!.. На что она стала похожа, бедняжка. А как я радовался, что она поправилась — посвежела, повеселела. Теперь она словно неживая. Исхудала, лицо мрачное, и огонька во взгляде, всегдашнего ее огонька, словно и не бывало. Спрошу о чем-нибудь — ответит, а так все мол-

чит, сидит в своей комнате у окна и смотрит в сад, глаз не сводит с большого каштана... Кажется, все в ней остыло... Может, разлюбила его, выкинула из сердца. Поняла, наконец, что это за человек, и, наверно, сейчас оплакивает свою любовь. Как я надеялся, что через год она сможет продолжить путь свой. А теперь придется все начинать сначала. Снова врачи, снова курорты, снова расходы, расходи... Опять придется ее тетке с места сниматься...»

Нико повернул лошадь к крепости. Сильное животное стало быстрым шагом подниматься в гору.

«Тедо? Да что Тедо! У Тедо я давно все зубы без помощи клещей вырвал! Кусаться он больше не может и только огрызается—ну и пусть! Но что у него на уме? Что движет им? Зачем он ворвался в нашу сельскую жизнь? Надо держать ухо востро—как говорится, от осторожности голова не заболит! Чутье подсказывает мне что-то недоброе. Может, его надо больше, чем Реваза, опасаться?»

Нико подъехал к крепости.

* * *

— Где ты до сих пор? Каждый вечер на собрании? Что-то в последнее время ты совсем от дома отбился!

Шавлего подошел, сел к деду на постель.

Такой был обычай у Годердзи: пока не повалит снег или не ударит мороз, старик не ложился спать в комнате.

Внук потрепал широкую бороду деда, погом, расправив ее, сунул под одеяло.

— Надо ее беречь—смотри, застудишь!—и встал.

— Постой, куда ты? Иди сюда.

— Сейчас приду.

В комнате невестки еще горел свет.

Шавлего постучался.

— Да, да, прошу!

Нино сидела за столом и просматривала ученические тетради.

— Ты, Шавлего?

— Тамаз уже спит?—Шавлего подошел, полистал поправленные тетради.

Нино потерла усталые глаза и положила перо.

— Что ты там смотришь?

— Чья это тетрадь?

— Сына Вардуашвили.

— Какого Вардуашвили? Иосифа?

Нино кивнула.

— Способный мальчик.

Улыбнувшись, Нино взяла у деверя тетрадь.

Шавлего подошел к постели племянника, поцеловал спящего мальчика и вернулся к столу.

— Мама тоже легла?

— Не знаю. Недавно еще беседовала там, в задней комнате, с тетушкой Сабедой.

— Тетушка Сабедка была у нас?

— Возможно, она и сейчас еще тут. Что-то ее, верно, пригнало. Эта женщина, сам знаешь, без нужды никого беспокоить не станет.

Шавлего пожелал Нино спокойной ночи и вышел на балкон.

— Где же ты, дружок!—дедушка Годердзи еще не спал.—Там Сабедка совсем извелась, дожидаясь тебя. Бедная, несчастная старуха эта Сабедка. Поди спроси, что ей нужно.

— Да, да, знаю.—сказал Шавлего и направился к комнате, расположенной в самом конце балкона.

У Сабеды голова была повязана платком так, что концы его, перекрещиваясь, закрывали чуть ли не все лицо—виднелись только нос да глаза. Одной рукой она придерживала на исхудалой груди шаль, наброшенную на сутулые плечи, другой держалась за подбородок и, застыв в этой позе, стояла у двери.

— Меня дожидаясь, тетушка Сабедка?

Гостья молча кивнула, еле сдержав подступившее к горлу рыдание.

Шавлего подошел к матери, обнял ее за плечи, поправил платок на ее голове.

— А ты о чем плачешь, мама? И откуда у тебя берется столько слез! Ты ступай себе спать, а мы с тетушкой Сабедой пройдем в мою комнату.

— Не до того мне, сынок... Поскорей бы только домой добраться. Весь вечер жду тебя, сил больше нет. Придется тебе со мной пойти, сынок.

Старуха ничего не говорила дорогой, и Шавлего не докучал ей расспросами.

В конце проулка, по левую сторону, у берега Берхевы стоял на отшибе дощатый домишко. В темном дворе смутно виднелись буйные заросли ежевики. Дощатый дом казался издали удивительно маленьким и жалким, свежившимся от холода.

Когда они вошли во двор, уже слившийся с проезжей дорогой, старуха ускорила шаг, почти побежала, бормоча себе под нос что-то горестно-жалобное.

— Сюда, сынок! — едва оглянувшись на спутника, она прошла мимо галереи, спустилась по короткой лестнице марани и долго возилась в темноте перед дверью.

Чуть слышно звякнул ключ в замке, старуха нагнулась еще ниже и бесшумно отворила дверь.

На ступени у входа упала тусклая полоса света.

— Входи скорей, сынок, — послышался шепот старухи.

Шавлего вошел и плотно затворил за собой дверь.

Старуха заперла ее на задвижку и поплелась в глубь марани.

Едва войдя, Шавлего сразу же разглядел у дальней стены тахту, с расстеленной на ней постелью. Там кто-то лежал. Сабеда, склонившись над изголовьем, шептала чуть слышно:

— Горе матери твоей!.. Ну, как ты, сыночек? По-прежнему весь горишь? Ох, надолго оставила я тебя одного, сынок, тряпка совсем высохла. Почему твоя несчастная мать не лежит в жару вместо тебя!

Шавлего молча стоял, прислонившись спиной к двери. Потом, так же ничего не говоря, медленно приблизился к постели и остановился перед тахтой.

На грязной подушке покоилась маленькая, круглая, совершенно лысая голова. Лоб был изборозжен морщинами, на висках голубели извилистые, вздутые жилы. Одна из них часто пульсировала. Резко выдавались вперед обтянутые кожей скулы, впалые, дряблые щеки заросли щетиной. Лишь в бесцветных, маленьких, крысиных глазках теплилась искорка жизни.

Старуха намочила тряпку и положила ее больному на лоб.

Прохлада явно принесла ему облегчение.

Шавлего спросил шепотом:

— Давно он вернулся?

— Уж больше месяца прошло. — Старуха прошаркала к другому концу тахты и приподняла одеяло. — Вот погляди, что с ним делается.

Под старым лоскутным одеялом недвижно вытянулись перевязанные какими-то лохмотьями ноги. Икры были тощие, циколотки покраснели и чуть вздулись.

— Что с ним?

— Не знаю, сынок. Четыре дня тому назад он куда-то ушел вечером и вернулся только под утро. Тогда это с ним и стряслось. Ноги, сверху донизу, опухли и покраснели. А потом и волдыри вздулись.

— К врачу не обращалась?

— Он не захотел, не позволил мне. Я приложила печеный лук к волдырям и сама перевязала как могла.

Шавлего прикрыл ноги больного одеялом и вернулся к изголовью постели. На черепе, туго обтянутом кожей, блестели капельки пота. Изможденное лицо пылало, иссохшие старческие губы были чуть приоткрыты, с натугой вырывалось из них частое дыхание.

— Надо позвать врача.

Больной вскинул мутные от жара глаза на Шавлего. Что-то вроде гримасы отвращения мелькнуло на нервно искривленных его губах, и тяжелые, лишенные ресниц веки снова опустились.

Холодным, недоверчивым, враждебным был этот взгляд.

— Другого выхода нет, сынок. Ведь истаял, кончается человек. Говорит, не хочу врача. А что же еще делать — уходит ведь, того и гляди кончится.

— Пощаще меняй влажную тряпку. Думаю, ничего особенного тут нет. Я пока схожу к доктору. — Шавлего вышел на двор и опять плотно закрыл за собой дверь марани.

Балкон медпункта был ярко освещен сильной электрической лампочкой. Свет ее достигал раскидистого тутового дерева во дворе. В окне у врача тоже горел свет.

«Не спит еще дядя Сандро», — подумал Шавлего и стал подниматься по лестнице.

— Войдите, дверь не заперта, — не сразу отозвался на стук голос изнутри приемной.

Доктор сидел за столом, на котором стоял графин вина, и, по-видимому, несколько не скучал в своем собственном обществе.

— Я от больного, дядя Сандро. Нужна ваша помощь, и поскорей. Он в жару, температура высокая. По-моему, у него отморожены ноги.

Гость с изумлением увидел, как расплывшиеся черты лица доктора обрели строгую четкость, мутные глаза прояснились и шаг стал твердым.

Доктор хлопотливо укладывал инструменты в маленький чемодан и второпях чуть было не забыл сунуть туда халат.

— Каково бы ни было состояние больного, не люблю мешкать, за мной уже с давних пор не числится опозданий.

...Когда все кончилось, больной словно ожил — замотал своей маленькой воробьиной головкой и наотрез отказался перебраться наверх из погреба.

Доктор перевел недоуменный взгляд со старухи на Шавлего.

Шавлего взял макинтош, перекинул его через плечо и сказал доктору по-французски:

— Не настаивайте. Я все вам объясню. У больного есть причины скрываться в погребе. Но это неважно, мы все же его перенесем.

Потом он повернулся к больному и посмотрел ему прямо в лицо.

— Не знаю, помнишь ли ты меня, Солико, но ведь кому-то ты все же должен довериться? Иначе нельзя. Ни о чем не тревожься — я беру всю ответственность на себя.

Больной не сводил с него глаз. Долго, упорно, настойчиво всматривался он в Шавлего тусклым взглядом. Потом, едва шевеля тонкими, пересохшими губами, с трудом выдавил из себя:

— Не знаю... Ты, как приехал сюда, каждому готов помочь, всех старался утешить... Неужто меня одного предашь и погубишь?

— Договорились, — сказал Шавлего и схватился за тахту у изголовья. — Вы, дядя Сандро, беритесь за другой конец. А ты, тетушка Сабедо, ступай вперед с лампой.

Прощаясь, доктор дал Сабедо последние наставления:

— Псите его горячим чаем. Есть ему можно все. Что, чаю у вас нет? Завтра принесу, когда приду делать укол пеницилина. И не беспокойтесь — меньше чем через месяц поставлю его на ноги.

Проводив врача до дома, Шавлего остановился во дворе, перед лестницей: — Ну вот, дядя Сандро, я поделился с вами по пути своими догадками. Из них следует одно: Реваза надо считать очищенным от всех подозрений.

— Да, разумеется, если, конечно, не удастся утаить шила в мешке. Но разяснить все — значит выдать больного.

— Надо сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Я что-нибудь да надумаю. А до тех пор мы оба с вами немые как рыбы.

— Я лекарь, юноша, и пациент для меня — только больной, ничего больше. Но одно вам следует помнить: клеймо совершенного злодеяния тяжелее любых наказаний. Как вы думаете смыть с него это пятно в глазах села?

— И об этом придется подумать. А за сегодняшнее беспокойство, надеюсь, когда-нибудь удастся вас отблагодарить.

— Не стоит благодарности, юноша, это мой прямой долг...

Авторизованный перевод Элисбара АНАНИШВИЛИ

(Окончание следует)



Драматическая поэма в двух частях

Им, не вернувшимся с фронта, погибшим под Керчью и на Марухе, у Ак-Моная и на Сапун-Горе, моим ровесникам, грузинам и русским, украинцам, армянам и азербайджанцам, кавказским горцам, им — безусым юнцам, которые еще не успели превратиться во взрослых, но умирали как взрослые, им — виновникам неизлечимых ран души моей юности, им в благодарность, в их заздравие написано это произведение. Сейчас они были бы моими ровесниками, и мне кажется, что они подставили свою грудь пуле, предназначенной мне.

Автор.

Действующие лица:

НАТИА ДЖАИАНИ.
 КАХА КАВКАСИДЗЕ-ОТЕЦ.
 КАХА КАВКАСИДЗЕ-СЫН.
 СЕРГО САРТАНИЯ.
 МАМЕНЬКИН ЛЕВАН.
 ГАГА МИГРИАУЛИ.
 АСТАМУР ТАРБА.

СЛАВА ЕРШОВ.
 САБИР БАБА-ОГЛЫ.
 ЗАУРБЕГ ЦАДАС.
 ПЕТРОС АРСЕНЯН.
 ВАРТАН АРСЕНЯН.
 ДЕВОЧКА.
 ГЕОРГ ШУСТЕР.

Часть первая

Гора Марух. Одна из вершин. Появляется группа молодых ребят в альпинистских костюмах, среди них — девушка.

Брезжит розовый свет зари.

Он освещает снежную шапку вершины.

И вдруг мы видим, что это не шапка, что, ярко освещенная, на вершине стоит, словно вырубленная из льда, группа бойцов.

На первом плане ледяная фигура юноши, занесшего для броска гранату.

Он, видимо, ослабел от ран: ледяная девушка поддерживает его.

Это — мемориал в память солдат, погибших на этой вершине.

Ребята обнажают головы.

КАХА-СЫН (немного волнуясь). Когда они закладывали этот мемориал «Ледяным Братьям», мы нашли консервную банку... Простую банку из-под солдатских консервов... В нее было вложено письмо, нет, даже не письмо: тетрадный лист с именами солдат, вставших на-

смерть на Марухском перевале. Мы, собравшиеся здесь, носим имена тех, кто здесь погиб в сорок втором. Они наши отцы. По духу, по совести, по войне, которую они приняли на свои мальчишеские плечи. Здесь они дали нам жизнь, подарили нам нашу молодость. Мы совершили восхождение к «Ледяным Братьям». Зачем? Чтобы помолчать и спуститься обратно?

Пауза.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. А что мы можем еще предпринять, Каха?

КАХА-СЫН. Я хочу, чтобы мы совершили восхождение к их последним дням. Пусть их мысли и чувства станут нашими, пусть их силы вольются в наши руки, пусть наше молчание станет их молчанием перед боем. И тогда мы будем огорчаться их бедами, радоваться их радостями, страдать их ранами... Сказка? Нет! Чудо? Мы не верим в чудеса. Жизнь... Жизнь наших отцов, которую мы должны прожить заново и до конца. Тогда мы пойдем себя...

Темнота. Ярко освещены только «Ледяные Братья». За сценой хор:

Триста апрелей знала ворона,
Триста июней ворон встречал.
Жизнь человека — вроде парома:
Только отчалишь —
глядяешь, и причал.

День, удаляясь, движется к павшим,
Может быть — вторник,
Может — среда...
Станет вчерашним,
позавчерашним,
Только вот завтрашним —
никогда...

* * *

КАХА-СЫН. Мама... Отец... Я не видел вас никогда. И только сейчас, спустя 30 лет, зову вас... (Шепотом.) Мама... Отец...

ЭХО. Мама... Отец...

Взявшись за руки, появляются Н а т и а
и К а х а - о т е ц .

КАХА-СЫН. Кто вы?

НАТИА. Ты ведь очень хотел нас видеть.

КАХА-ОТЕЦ. Вот мы и пришли.

НАТИА. Ты звал — мы пришли.

КАХА-ОТЕЦ. Это твоя мать.

КАХА-СЫН. Такая девчужка?

КАХА-ОТЕЦ. Да... а я...

КАХА-СЫН. Отец...

НАТИА. Ты удивлен?

КАХА-СЫН. Поразительно. Такие юные, почти дети...

НАТИА. Когда ты родился, мне и восемнадцати не было.

КАХА-ОТЕЦ. А мне тогда было бы двадцать один.

НАТИА. Как удалось тебе найти нас здесь?

КАХА-ОТЕЦ. Именно здесь.
КАХА-СЫН (достает из-за пазухи треугольное фронтное письмо). Вот!

НАТИА. Да, это писалось здесь.

КАХА-ОТЕЦ. «Моя любимая мамочка, пока я жив и пуля меня не берет, уверен — возвращусь невредимым. Ты, мамочка, знаю, поймешь меня. Я открою тебе тайну — в нашей части одна девушка — Натиа по фамилии Джанани. Не сердись, мы без тебя все решили. Сложно на войне, родная. Может случится, что Натиа раньше меня возвратится домой. Прошу, прими ее как родную дочь.

Твой Каха.

28 августа 1942 г. Марух».

НАТИА. Это письмо, очевидно, она дала?

КАХА-СЫН. Да... Когда я подросток, она сказала мне, что ты...

НАТИА. Я не была у нее... Постыдилась. Когда мне стало плохо и было трудно, я сообщила ей о себе уже из роддома. Она тотчас же пришла, но меня уже не было.

КАХА-СЫН. И ее уже нет. В прошлом году я похоронил бабушку рядом с тобой.

КАХА-ОТЕЦ. Ты, наверное, уже жонат, а?..

КАХА-СЫН. Конечно! Двойня у меня, мальчик и девочка.

КАХА-ОТЕЦ. Ты смотри, Натиа, оказывается, у нас внуки!

НАТИА. Да, жизнь продолжается.

КАХА-ОТЕЦ. Ну, а зачем ты звал нас?

КАХА-СЫН. Тут я вот... ребят привел, своих студентов. Они должны знать, какими вы были, отцы наши. За что боролись и как побеждали смерть.

* * *

Хор. В песню, как аккомпанемент, влетают автоматные очереди и одиночные выстрелы. К последнему куплету они смолкают.

Слава погибшим —
храбрым и честным!
Кровь их —
победы нашей цена.
Да не угаснут,
да не исчезнут,
да не сотрутся
их имена!

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Гага Мигриаули!

ГОЛОС. Здесь!

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Астамур Тарба!

ГОЛОС. Я!..

Свет с «Ледяных Братьев» переходит на ребят: вместо альпинистской одежды на них обожженные шинели, на ногах обмотки и самодельные лапти из бычьей кожи. Один из них полулежит, прислонясь к скале; девушка с сумкой медсестры делает ему перевязку. Видно, что небольшой отряд только что вышел из боя. Каха-отец продолжает переключку.

КАХА-ОТЕЦ. Маленький Леван!
МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Тут, тут, Каха!

КАХА-ОТЕЦ. Слава Ершов!
СЛАВА (это ему делают перевязку). Живой!

КАХА-ОТЕЦ. Как рана?
НАТИА. Ничего, заживает. Только бинты кончаются, Каха.

КАХА-ОТЕЦ. Дай бог, чтоб совсем не пригодились! Сабир Баба-оглы...

САБИР (выглядывая из-за камня). Здесь, автомат чищу.

КАХА-ОТЕЦ. Заурбег Цадас!
ЗАУРБЕГ. Здесь!

КАХА-ОТЕЦ. Петрос Арсенян, Вартан Арсенян!

ПЕТРОС. Мы!

Вартан возится, налаживая рацию.

КАХА-ОТЕЦ. Почему Вартан молчит?

ПЕТРОС. Знаешь сам, если б Варта-на не было, и я б не ответил. Был бы там, где он!

КАХА-ОТЕЦ (улыбнувшись, продолжает). Серго Сартанна!

Пауза. Все переглядываются. Кто-то заглядывает в пещеру.

СЛАВА. Был рядом со мной. Уложил двоих, погнался за третьим, который меня ранил...

САБИР. И я видел! Серго догнал его, убил и зачем-то сел на него верхом... Потом я оглянулся, смотрю, уже нет никого.

СЛАВА. Не к ним же он уехал на убитом фрице!

КАХА-ОТЕЦ. (Славе). Почему ты подумал такое?! Мог к нашим вернуться.

СЛАВА. А кто приказал?

КАХА-ОТЕЦ (разводит руками). Серго любит сам себе приказы давать! Вернемся — проработаем.

СЛАВА (ворчливо). Дисциплинка!

АСТАМУР. Да, маленькая тропинка к нашим еще есть. Ниточка! Скоро и ее фрицы оборвут.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. А кто нам запрещает вернуться? Задание выполнили, разведку кончили, целый взвод уложили. Чего еще хотите, кацо?

САБИР. Валлах! Маленький Леван правду говорит.

КАХА-ОТЕЦ. Вартан, что с аппаратом? Еще не связался с частью?

ВАРТАН. Никак не могу, Каха джан!

САБИР. Жрать нечего, боеприпасов — лишний выстрел не сделается! Валлах! Ничего нету. Кто тебе даст? Мой отец Файзулла из Баку в посылке пришлет?

ВАРТАН. Каха, Каха! (Показывает на заработавшую рацию, прижимает крепче наушники, кричит в микрофон.) «Рица»!.. «Рица»! Я «Бзыбь»... «Рица», слышишь?.. Я «Бзыбь»... Да, сейчас... (Передает микрофон и наушники полскачавшему к аппарату Каха.)

КАХА-ОТЕЦ. «Рица», слушай... С севера Маруха поднялись немецкие альпинисты, целая дивизия. Пытаются штурмовать вершину двести пятьдесят. Мы уже два дня задерживаем, потеряли одного человека... Задание выполнили, вражеские дислокации установили. Окружены, но можем вернуться — есть еще не обнаруженная противником тропа... Продзапас вышел еще вчера, боеприпасы на исходе... Перехожу на прием...

Бойцы подтянулись ближе к рации.

ГОЛОС (сопровожаемый шумом помех радиосвязи). «Бзыбь», «Бзыбь», говорит «Рица»... Против вас действует первая дивизия сорок девятого альпийского корпуса под названием «Эдельвейс» — «горный цветок». Отборные альпинисты, баварцы и тирольцы. Дивизия сражалась у Нарвика, штурмом взяла Крит. Я вас не хочу пугать, хочу, чтоб вы знали, с кем имеете дело. Немедленно высылаем подкрепление. Двести пятнадцатую оставить нельзя. Продержитесь, продержитесь как-нибудь!..

КАХА-ОТЕЦ (в микрофон). «Рица»! «Рица»!..

ВАРТАН (извиняющимся голосом). Батарей совсем сели, Каха.

КАХА-ОТЕЦ (задумчиво). «Как-нибудь»!.. А сколько?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Вместо тушенки будем нюхать «горный цветок»! Ничего, Каха, неделю и кутеж можно выдержать.

Стоявший в охране Заурбег вдруг вскинул автомат.

ЗАУРБЕГ (тихо). Каха! Фриц идет!

КАХА-ОТЕЦ (выглядывает из укрытия в ту сторону, куда указал Заурбег). Один?!

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (тоже выглядывает). Шагает в рост, как будто его и подстрелить нельзя! Гуляет себе, «Эдельвейс» несчастный! (Вскидывает автомат.)

КАХА-ОТЕЦ. Отставитель!

СЛАВА. Поди, агитатор послали. Нашли наивненьких!

КАХА-ОТЕЦ. Гага! Заурбег! Взять тихо, без шума, живьем. Пусть язык развяжет.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Я тоже!

КАХА-ОТЕЦ. Отставить! Возьми отсюда фрица на мушку.

Гага и Заурбег исчезают. Леван делится из укрытия, переводя автомат в соответствии с движением немца.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Гага залег слева от тропы... Заурбег — справа. Хотя как смотреть, со стороны фрица будет наоборот: Гага справа, Заурбег слева... Фриц прошел... Сейчас знакомиться будут... Все! Пожимают фрицу руки. Правда, фриц почему-то улегся мордой в землю, а руки протянул сзади... Наверное, у них так принято. Очень вежливый фриц, очень!

СЛАВА. Глаза завязали?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Всю морду ему упрятали в башлык, как в намордник. (Опускает автомат.)

Появляются Заурбег, Гага и связанный, с замотанным лицом немец. Заурбег и Гага бросают на землю три немецких автомата, два вещмешка.

КАХА-ОТЕЦ. Слава! Ты говорил, что знаешь немецкий?

СЛАВА. Знаю. В интерклубе, в кружке изучал.

КАХА-ОТЕЦ. Допросишь его. (В сторону немца.) Развязать!

Немца развязали. Он встал в независимую позу, даже подбоченился. Ему размотали башлык, открыв лицо. Он небрежно всех оглядел.

ПЕТРОС (разинул рот). Вах! Это же наш Серж!

СЛАВА (немцу). Черт бы тебя побрал! Ведь мы вместе должны быть. Почему устав нарушаешь?

СЕРГО. Эй ты, русачок-морячок, все об уставе думаешь? А я обо всех подумал, кое-что достал.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (хохочет). Этот хохмач обязательно что-нибудь придумает! Хитрый мингрелец, на все руки мастер. Ну и пройдох! Что ты напаялил на себя, генацвале?

СЕРГО. Замерз и надел. Мороз! Тут не будешь очень разборчивым. Ребята! Я вам подарки принес.

ГАГА. Ты «принес»! Мы с Заурбегом тебе носильщики, да?

СЕРГО. Зачем руки связали? Сам бы дотащил.

ЗАУРБЕГ. Фриц несчастный! Зачем не сопротивлялся?

СЕРГО. Да? Чтоб меня какой-нибудь советский разведчик ухлопал из укрытия?

Маменькин Леван хохочет, хлопая себя по бокам.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Все время держал тебя на мушке, кацо, все время! Поверь: не промахнулся бы.

АСТАМУР. А ну, что за подарки ты принес?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Откуда подарки? Из Гурджаани или из Визуци?
(Берет вещмешки.)

СЕРГО. Отойди, папенькин ты или маменькин Леван! Посылка не от твоего папеньки, не от твоей маменьки!

САБИР. Что, все шутки шутишь? Серго, джанум, что произошло?

СЕРГО. Не поверите! Скажете — он мингрелец, он все преувеличивает!

КАХА-ОТЕЦ. Поверим, Серго.

СЕРГО. Трех фрицев я уложил!.. (Обводит всех взглядом.) Не верите, да?

СЛАВА. Верим. Я сам видел.

СЕРГО (скрывая признательность за шуткой). Ну, спасибо тебе, русачок-морячок!

СЛАВА. Тебе спасибо. Третий — это который меня подбил. (Показывает перевязанную руку.)

СЕРГО. Ну, в общем, так... Сел я на третьего фрица, огляделся — никого... Только собрался за вами, как вдруг... голод о себе дал знать.

АСТАМУР. Как мог в то время думать о голоде?!

СЕРГО. Это не я о нем, это он обо мне подумал.

Смех.

Ну вот... снял я с одного из этих вещмешок...

ПЕТРОС (с торопливостью голодного человека, заранее глотая слюну). А что там было?

СЕРГО. Гастроном! Скатерть-самобранка!.. Копченая колбаса, говяжий паштей, французский коньяк... (Вартану.) Что морду скривил?

ВАРТАН (вздыхает). Армянский лучше, Серж джан.

СЕРГО. Так ведь армянский вон за какими горами, а французский не за горами оказался...

ГАГА. Дайте человеку досказать!

СЕРГО. Достал все это, там же присел и упледел.

ВАРТАН. Все?

СЕРГО. А что? Все. Даже крошки не оставил.

САБИР. Потом?

СЕРГО. Потом холодно мне стало. Замерз и подумал: для чего этому мертвену альпийское обмундирование? Снял с него и... вот.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (одергивает на Серго куртку). Вах, вах, как здорово на тебе сидит!

СЛАВА. Ты что, мародерством начал заниматься?

СЕРГО. Мародерство — что такое, объясни?

СЛАВА. А вот когда с мертвого одежду сдирают!

СЕРГО. Этот человек меня с ума сведет! Слушай, ты, моряк: фриц церкви грабит, из курятников яйца ворует на Украине... Что, я не имею права на од-

ду теплую шинель? Не могу один раз пообедать на их счет?

САБИР. Ты-то пообедал!

СЕРГО. Человек сперва думает о себе, а потом о других. Слава! Вот этот немецкий автомат я специально для тебя прихватил. Хотя... это же мародерство! Прости, дорогой!

СЛАВА (поспешно). Давай, давай сюда! Это не мародерство, дурья башка, это — трофей!

СЕРГО. Вах! Получай свою игрушку. (Подает Славе автомат.)

АСТАМУР. Набил брюхо, приоделся, как в ателье, а нам железо принес грызть? Ломай сам свои автоматы!

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Это, что ли, твой «подарок»?

СЕРГО. Как ни стараюсь, все равно этому папенькиному Левану не угодишь! Эй, ты, папенькин Леван!

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Не папенькин, а Маменькин Леван я, Маменькин! Понял? Нет?

СЕРГО. Люди добрые, помогите разобраться! Никкак не соображу: как этот шалопай умудрился без папеньки родиться?

Смех.

Не злись, Кахнашвили. И о вас не забыл. С тех двоих тоже снял вещмешки и принес сюда. Да разве хватит этого на голодную ораву?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Молодец! (Хочет расшнуровать мешки.)

СЕРГО. Сказал — отойди! (Берет у него мешки.) Знаю я твой аппетит! Сабир, помнишь, в Тбилиси, в аргучилище?.. А? Как папенькин Леван забрался на кухню?..

Серго и Сабир хохочут.

САБИР. Что правда, то правда. У Маменькиного Левана аппетит не для диетического питания!

СЕРГО (отдает мешки Натии). Натиа, вот, все тебе. Распредели, я и крошки не хочу!

АСТАМУР. Каким щедрым бывает сытый человек! А?

СЕРГО. Ты напрасно радуешься, абхазец: немцы забыли положить для тебя перцу.

НАТИА (быстро распределила содержимое мешков, раздала всем). Ну как?.. Все довольны?

СЛАВА. Конечно, довольны! Все по правилам, по уставу. По закону моря.

СЕРГО. Эй ты, потийский матрос, оставишь когда-нибудь свой устав?

Натиа подходит к Каха-отцу.

НАТИА. Каха, что с тобой? Ты даже не притронулся к еде?

КАХА-ОТЕЦ. Я не хочу, Натиа. Спрячь для себя. На.

НАТИА. Ты что, Каха? У меня своя доля.

КАХА-ОТЕЦ. Не хочу, говорю.

Они стоят друг перед другом. Вступают мелодия, странная, тревожно-счастливая, наверное, слышная только им двоим. Наверное, только им двоим стало видно, как вдруг жесткий свет ледников стал мягче и словно потеплело в горах. Это продолжалось одно мгновение. Но, что-то почувствовав, все подняли головы.

СЛАВА. Каха, мы тоже ведь можем отказаться от своей доли. (Положил свою долю перед Натией.) И я не буду. Возьми, Светлана.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Милая Натиа! Если и не весь мир знает о моем аппетите, то, во всяком случае, Сабир Бабаоглы и Серго Сартания. Мне все равно не хватит (Славе) «По закону моря, по закону моря!» Ведь это капля в море. На что мне? (Натии). На, возьми.

ГАГА. Чем я хуже других? И моя порция, и мое сердце твои, Натиа!

АСТАМУР. Ты должна жить до конца, девочка.

ЗАУРБЕГ. Асинат, у нас в Дагестане женщины и старики самые почетные люди.

ПЕТРОС. Лусине! У меня один брат, вот он, мой близнец, и одна мать. Ими жертвовать не могу. Но всю жизнь отдам тебе не задумываясь.

ВАРТАН. Пусть моя жизнь будет твоей, Люсин!

САБИР. Пусть жизнь Сабир Бабаоглы из Баку будет твоей!

СЕРГО. Я думал обо всех и себе ничего не оставил. Что отдать тебе?

НАТИА. Мальчики! Я вас всех люблю...

СЕРГО. Всех?

Натиа медленно идет к авансцене. Смотрит куда-то вдаль. Появляется Каха-сын.

КАХА-СЫН. Звала меня, мама?

НАТИА. Да, звала. Вот видишь...

КАХА-СЫН. Вижу, тебя любит каждый из них, но тайно, скрывают свои чувства, ибо ледяные братья сильно любят друг друга.

НАТИА. А что делать мне? Что ты скажешь, что посоветуешь, тебе ведь тридцать, а мне всего семнадцать.

КАХА-СЫН. Опасно тебе здесь находиться. Опасно и для тебя, и для них. Кто знает, на что пойдут обреченные двадцатилетние парни.

НАТИА. Что посоветуешь, Каха?

КАХА-СЫН. Пока есть время, ты должна уйти.

НАТИА. Я не могу этого сделать.

КАХА-СЫН. Почему?

НАТИА. Я их не оставлю. Я им нужна. В трудную минуту буду рядом с ними, буду им сестрой, матерью. Им нужна женская нежность, в последнюю минуту жизни я не могу отнять ее у них.

КАХА-СЫН. Натиа, ты не говоришь главного, ты...

НАТИА. Я женщина. А женщина — это мать первым долгом... Я должна родить тебя.

КАХА-СЫН. Натиа, подумай. Ведь может случиться, что ты навсегда останешься здесь. Видишь, что творится вокруг.

НАТИА. Матери не умирают. Они переносят все. Вот родишься ты и продолжишь жизнь. Я обязана родить тебя.

КАХА-СЫН. Ты любишь...

НАТИА. Да. (Пауза.) Что посоветуешь?

КАХА-СЫН. Раз любишь, ничего. (Уходит.)

НАТИА. Мальчики... Я вас всех люблю.

СЕРГО. Всех?

НАТИА. Да, всех. Как братьев. Моих родных братьев. Оба они на фронте. (Пауза.) Пойдем, Каха!

КАХА-ОТЕЦ. Куда, Натиа?

НАТИА. (показывает рукой). Вон туда, в то ущелье. Там не замерз родник, поможешь мне воды принести.

ВАРТАН. А немцы?

НАТИА. Немцы замолчали. Не страшно.

СЕРГО. Вы идете вдвоем?

НАТИА. (улыбнувшись). Да, вдвоем. Я и Каха.

СЕРГО. Почему Каха, а не я, например?

НАТИА. Потому что ты устал, милый.

СЕРГО. Милый?

НАТИА. Да, конечно, милый, дорогой брат мой! (Целует его в лоб, поднявшись на цыпочки.)

СЕРГО. (кричит). Каха!..

КАХА-ОТЕЦ. Что кричишь, Серго? Зачем кричишь? В разведке кричать не надо.

СЕРГО. Ты мудрый, да? Как старики в горах?

КАХА-ОТЕЦ. Я не старик, Серго.

СЕРГО. (сжимает автомат). Я тоже!

КАХА-ОТЕЦ. В чем дело, брат?

СЕРГО. Я! Я пойду помогу Натии принести воду.

КАХА-ОТЕЦ. Тут командир — Натиа. Как она скажет, так и будет, тот и пойдет.

НАТИА. Каха? Что же ты? Бери ведра?

Ребята уступают им дорогу и провозжают натянутыми улыбками.

СЕРГО. А это законно, Слава? Ты же человек «уставов» и «законов»!

СЛАВА. Да, законно. Ей, что же, всех десятерых полюбить, что ли? Эх, что поделаешь, очень даже законно.

СЕРГО. Но ты или я — чем хуже Каха?

ГАГА. Это уже дело девушки.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. При чем здесь девушка! Сам Каха не должен поступать так.

СЕРГО. Правильно, хотя бы ради нас-АСТАМУР. Серго, ты неправ!

СЕРГО. (Астамуру). Пойми меня! Ты же молочный брат. Может быть, эту девушку я больше люблю, чем она... Если честно поступать, то ни он, ни я не должны были прикасаться к ней! (Перекинув через шею автомат, направляется в ту сторону, куда ушли Натиа и Каха.)

СЛАВА. Серго!.. (Кладет ему на плечо руку.) Мы все дали ей самые ласковые имена, какие только есть в наших языках... Варган и Петрос ее прозвали Лусине... Наверное, нет в армянском языке имени нежнее... Заурбег прозвал ее Асинат... Наверное, так зовут в Дагестане самых красивых девушек... Светлана — сам знаешь — от слова «свет»... Но сейчас там (кивает вслед ушедшим) третий лишний.

СЕРГО. (сбрасывает его руку с плеча). Никто не может сказать, что я трус. Но в этих ледниках я больше не хочу оставаться. И не говори мне об уставе, пожалуйста! Тропинка вниз еще есть.

СЛАВА. Серго! Это побег, трусливый побег!

ПЕТРОС. Ты знаешь, что из части передали?

СЕРГО. Знаю, догадываюсь: крепить, поможем!.. Я разведчик, что приказали — выполнил. Хватит, невозможного пусть не требуют. Я еще повоюю хочу!

ЗАУРБЕГ (Серго). Ты понимаешь, что делаешь?!

СЕРГО. Прекрасно понимаю! А третий лишний или нет — скоро узнаете...

СЛАВА. Не пускайте его!

СЕРГО. Близо не подходите! (Убегает.)

АСТАМУР (вслед). Серго!.. Серго!..

Лагерь уходит в затемнение. В горах мы видим Каха и Натиа. Вступает мелодия странная, тревожно - счастливая, наверное, слышная только им двоим. Но теперь это продолжается не мгновение. Мелодия ширится, растет... Суровый ландшафт теплеет на наших глазах... Горы усыпаны неестественно крупными цветами. словно нет войны, нет холода, нет тревоги. Вот Каха и Натиа собирают цветы, и руки их перепелились. Вот он что-то говорит ей, понятное и слышное только им двоим... Вот он несет ее на руках, и она обвила его шею... Они заходят за огромную скалу.

Появляется Серго.

СЕРГО. Я за себя не отвечаю. Вот они скрылись за скалой. Я сойду с ума. Больше не могу. Сначала их, а затем... (Взвел курок.) А может, лучше будет Серго Сартанна уйти, оставить все и уйти. (Появляется Каха-сын.)

КАХА-СЫН. Так будет лучше, Серго!

ГАГА. Зачем вводишь человека в заблуждение? Разве не знаешь, что самый лучший сыр на свете — тушинский?

АСТАМУР. Вот и муха сказала: «Мы пахали!». Ты понимаешь, что говоришь?

ВАРТАН. Ладно, Гага, хватит! Давай, Астамур... Значит, так: берешь сулгуни...

АСТАМУР. Что «давай», что «давай»? Нечего давать! Было бы что — всем дал бы.. (Помолчав.) Берешь сулгуни, режешь его на мелкие кусочки и кладешь в горячую мамалыгу. Ох, вкусно!

ПЕТРОС. А руки не печет?

АСТАМУР. Эти армяне меня с ума сведут! У вас что, горячего не едят?

СЛАВА. Сациви и мамалыга, братцы. — это да! Мама в Потю часто готовила.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Хватит, ради бога! Взвоешь тут с вами!

АСТАМУР. Вот видите, даже кахетинец знает вкус мамалыги и сациви!

ГАГА. Все равно, лучше наших хинкали ничего нет на свете. Ну что такое мамалыга и сациви?

ЗАУРБЕГ. Гага, умоляю, не вспоминай хинкали, а то мне плохо.

САБИР. Вах-вах-вах! Сейчас бы карабахский ширин-плов! Потом и умереть не жалко.

СЛАВА. А что может быть лучше горячего украинского борща?.. Сверху плавают белые кусочки сала, туда еще ложку сметаны да плюс двести граммов... А потом блины или вареники..

САБИР. Тьфу, свинина! Больше не о чем помечтать, да?

СЛАВА. Прости, не учел, что ты мусульманин.

ПЕТРОС. Ребята, кто-то идет...

НАТИА (всматривается). Серго!

АСТАМУР. Слава богу! Я знал, что вернется.

СЛАВА. Видно, поумнел.

САБИР. Или тропу не нашел.

Входит Серго.

СЕРГО. Ребята, Натиа...

Все молчат.

Даже говорить не хотите со мной? Понятно... Если вы думаете, что я к вам извиняться пришел, глубоко заблуждаетесь.

СЛАВА. А для чего вернулся? Кто тебя укусил?

Все молчат. Каха-отец подходит к Серго, протягивает ему руку.

КАХА-ОТЕЦ. Спасибо, брат!

СЕРГО (не взяв протянутой руки). Спрячь свое «спасибо». Да подальше!

Молчание.

КАХА-ОТЕЦ. Почему в часть не ушел? Передал бы данные разведки, о нас рассказал бы.

СЕРГО. И себя забыл, не то что часть!.. Там... там, в ущелье, — наши...

Все вскочили.

АСТАМУР. Как это — наши? Подкрепление?

СЕРГО. Наши, братцы! Дети... Дети наши. Кому десять, кому двенадцать, Ободранные, голодные. На некоторых даже обуви нет. Так босиком и бредут по снегу...

НАТИА. Ой, что же делать?!

ПЕТРОС. Кто они такие, Серго.

СЕРГО. Не слышал, кто?.. Дети!.. Наши, советские дети! С ними... девочка, немногим старше их... говорит — медсестра. Когда меня увидели — испугались, подняли визг.

ВАРТАН. Ну да: немецкая шинель!..

СЕРГО. А как убедились, что я не враг, чуть всего руками не изодрали: «Дядя, дай кусочек хлеба!..». Я не выдержал, к вам побежал... А вот и девочка! (Помогает подняться на площадку закутанной в тряпье фигурке.)

ДЕВОЧКА. Здравствуйте, товарищи!

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Здравствуй, девочка.

ДЕВОЧКА. Товарищи, наверное, он уже объяснил вам мое положение? Веду больных детей из Теберды. Трое в пути погибли.

НАТИА. Погибли?

ДЕВОЧКА (с неестественным спокойствием). Да, они умерли.

ГАГА. Как вы оказались в Теберде?

ДЕВОЧКА. Я оттуда. Там у нас санаторий для туберкулезных детей. Я работала медсестрой, ну... когда настоящих медсестер на фронт взяли. Потом санаторий немцы разбомбили. Большинство детей погибло, живых я забрала.

КАХА-ОТЕЦ. Сколько детей?

ДЕВОЧКА. Было двадцать девять. Теперь — шесть со мной, а двадцать, которые не могли идти дальше, я оставила где-то в горном селении. Там их по домам разобрали.

ВАРТАН. Как вы рискнули идти сюда?

ДЕВОЧКА. Другого выхода не было. Когда немцы подошли к Теберде, дирекция поручила мне как-нибудь переправить детей через Марухский перевал в Грузию.

ПЕТРОС. А что же сама... дирекция?

ДЕВОЧКА. Все ушли в лес, к партизанам.

ЗАУРБЕГ. Дети-то ведь голодные!

ДЕВОЧКА. Да. Уже четыре дня у них крошки во рту не было. Позавчера умер один, а вчера еще двое. Я сама их похоронила на обочине, в снегу.

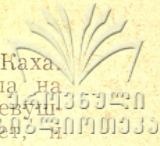
Молчание.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (всклипнув, закричал). Боже, что же это творится!

КАХА-ОТЕЦ. Спокойно, Леван! (Пауза.) Что молчите, люди? Может, у кого остались какие крохи?

ПЕТРОС. Девочка... И мы... голодные.

СЕРГО (резко повернулся, сжимая автомат). Я скоро приду.



САБИР. Куда ты?

СЕРГО. Я скоро приду.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Куда, говори?

СЕРГО. Не твое дело!

САБИР (преграждает ему путь). С ума сошел?

НАТИА. Не пускайте его!

СЕРГО. Пустите! Заманю какого-нибудь... У каждого из них вещмешок. Я же в их форме!

КАХА-ОТЕЦ. Отнимите оружие!

У Серго отнимают автомат.

НАТИА (глядит его по голове). Успокойся, Серго, прошу тебя!

ЗАУРБЕГ. Что с детьми делать будем?

ПЕТРОС (порылся в карманах, достал маленький кусочек сахара). Вот, девочка, возьми. Это даже не кусочек сахара, это — кусочек кусочка. Но, может, хоть один ребенок заморит червячка.

ДЕВОЧКА. Большое спасибо! (Бережно берет сахар.)

НАТИА (на что-то решившись). Ребята! Серго!.. Тебе не надо никуда идти: все, что вы мне дали, я сохранила для всех... ну... на самый черный день. (Достает из пещеры вещмешок.)

ЗАУРБЕГ. Асинат, ты просто ангел! МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Пусть здравствуют твои родители!

НАТИА (подает его Девочке). На, возьми. Здесь на денек вам хватит, а завтра...

ДЕВОЧКА (глотая слезы). Товарищи, мальчики, а вы, вы что будете?..

КАХА-ОТЕЦ. Бери.

СЛАВА. Возьми, возьми, сестренка, мы потерпим.

АСТАМУР. Продержимся как-нибудь! Взрослый человек двадцать суток без еды может продержаться. Неужели не читали?

Девочка отрицательно мотает головой.

А Сабир своими глазами читал в научном журнале. Надо верить в науку!

ВАРТАН (Девочке). Не беспокойся.

ГАГА. И наши подоспеют.

СЛАВА (Натии). Светлана, Слава Ершов или погибнет, или завтра вечером четыре таких мешка отдаст в твое распоряжение. И я начинаю заниматься маордерством.

ДЕВОЧКА. Ребята! Я даже не знаю, как благодарить вас. До свидания.

КАХА-ОТЕЦ. Дорогу найдешь?

ДЕВОЧКА. Пройдем как-нибудь. (Поворачивается, чтобы идти.)

КАХА-ОТЕЦ. Стой!

Девочка останавливается. Обводит всех взглядом.

Кто-то из вас должен проводить детей до Сухуми. Она одна заблудится.

СЛАВА. Каха, мы прекрасно понимаем — кто проводит детей, оставит лагерь обреченных и спасется. Поэтому ни один из нас и шагу не сделает отсюда.

САБИР. Мы давно так решили, Каха. ДЕВОЧКА. Ребята... (Посмотрела на Натию.) Пустите со мной эту девочку. Она, наверное, и дорогу знает за детьми мне поможет ухаживать.

ГАГА. Она права!

КАХА (Натии). Что делать, Натиа, ты должна идти.

НАТИА. Избавляешься от меня, Каха?

КАХА-ОТЕЦ. Так нужно.

Все грустно улыбаются.

ВАРТАН. Ты должна уйти, Люсик джан, женщине не место в этом аду.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Эх! Пропадем мы без тебя, но ты должна уйти, должна спастись.

ЗАУРБЕГ (Натии). Иди, не раздумывай.

АСТАМУР. Не теряйте времени. Фрицы очень аккуратные люди; теперь как раз у них обеденный перерыв.

ДЕВОЧКА (Натии). Пошли?

НАТИА. Мальчики, Каха... Я не оставлю вас. Это я твердо решила. Даже если бы ты не был здесь, Каха, все равно я ребят не оставила.

КАХА-ОТЕЦ. Рядовой Сартаниа!

СЕРГО. Слушаю!

КАХА-ОТЕЦ. Проводишь детей. Явишься в часть и доложишь о нас.

СЕРГО. Но...

КАХА-ОТЕЦ (резко). Это приказ.

СЕРГО. Есть!

КАХА-ОТЕЦ. Верните ему автомат. Выполняй! (Отходит.)

СЕРГО (тихо). Ребята, Астамур...

Не отвечая, Астамур выскреб из всех карманов остатки табака, скрутил тощую самокрутку, затянулся. Потом передал другому. Из рук в руки переходит самокрутка. Серго снял немецкую шинель и, бросив ее, надел свою. Девочка стоит, прижимая к себе вещмешок.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Девочка! (Дает ей треугольное письмо.) Опустит это письмо в Сухуми.

ЗАУРБЕГ. Возьми и мое, может, дойдет до Гуниба в Дагестане.

ПЕТРОС. Девочка, вот и наши письма, не поленись, пожалуйста.

САБИР. Баку, Сабунчи, моему отцу Файзулле Баба-оглы лично. (Дает ей треугольник.)

АСТАМУР. Девочка, в Сухуми зайди к нашим и передай эту весточку. Тебя примут там как родную. (Дает ей записку.)

СЛАВА. Никто не знает, как идет моя мать этого треугольника!

ГАГА. Возьми и мое. Счастливого пути, девочка, не забывай ледяных братьев.

Девочка прощается и вместе с Серго уходит.

КАХА-ОТЕЦ. Петрос!

ПЕТРОС. Есть!

КАХА-ОТЕЦ. Пойдешь за ними и в случае чего прикроешь.

ПЕТРОС. Есть! (Уходит.)

Все сидят молча. Леван тихо начал петь. Тихая песня, похожая на стон.

ГАГА (шепотом). Леван, умоляю, прекрати!

КАХА-ОТЕЦ. Гага, что с тобой?

Леван продолжает петь.

ГАГА. Перестань! Не могу, не могу больше!

НАТИА. Гага, песня от сердца начинается. Такая песня всегда за душу берет.

ГАГА. Вот разрывается у меня сердце. Не могу больше!

СЛАВА. Еще, еще немножко потерпи, Гага, и все будет в порядке...

Из ущелья раздается перестрелка. Маменькин Леван перестал петь. Все прислушиваются. Несколько очередей, одиночные выстрелы. Появляется Петрос.

ПЕТРОС. Они замкнули окружение.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. А дети?

НАТИА. Серго?

ПЕТРОС. Успели проскочить. Я отвлек немцев, втянул в перестрелку. Но они прошли по ущелью. Сейчас они со всех сторон. Мы отрезаны от всего мира.

КАХА-ОТЕЦ. Вартан! На рацию есть надежда?

ВАРТАН. Никакой, Каха джан. Все молчат. Начинает идти крупный снег. Он валит все сильнее и сильнее. За сценой суровый музской хор поет:

Кавказские горы,
Кавказские горы,
В них стоны чонгури,
И гордость, и горе,
и слезы, и радость,
и песни, и смерть...
А выше взлететь —
Никому не суметь!

Кавказские горы,
Кавказские горы,
Пронесются годы
Над горем, а горы,
Кавказские горы,
Стоят нерушимо,
Навечно в строю
Снеговые вершины.

В ущельях гниют
Боевые знамена
Врагов, посягнувших
На гордые склоны.
Вершины глядят
В неоглядные дали,
На солнце горят
Ледники, как медали!

Часть вторая

Хор за сценой:

Солдаты, солдаты,
Вы были, вы жили.
Ребята, ребята,
Вы корни пустили,
Но корни деревьев
Станут нескоро...
Кавказские горы!
Кавказские горы!

Та же площадка. Только теперь все забелено выпавшим снегом.

СЛАВА. Сабир, кажется, у тебя есть лист бумаги?

САБИР. Есть.

СЛАВА. Бери карандаш и садись.

САБИР (приготовился писать). Я готов.

СЛАВА. Пиши!.. Я, Слава Ершов, родился в городе Поти в тысяча девятьсот двадцать втором году по улице Гурии, номер двадцать три. Отец мой был моряком и дедушка тоже...

САБИР. У меня простая бумага, а не анкетный бланк!

СЛАВА. Пиши, я тебе говорю!.. С тысяча девятьсот тридцать восьмого года член ВЛКСМ. Закончил школу в тысяча девятьсот тридцать девятом году. После этого служу на Черноморском флоте. Мой корабль фашистские гады потопили под Одессой. Экипаж погиб, и только двое, я и Каха Кавкасидзе, спаслись. Отступаем с болью, но враг нашей спины еще не видел. Грузинским владею как родным русским. Пиши! Грузия — моя родина, как и вся Страна Советов, ну, а Поти, улица Гурии... Там — песня матери над моей колыбелью, там — мечты, которые должны были сбиться... Патроны выйдут — прикладом буду драться за эту улицу! Приклад — в щепы, жизнь положу за нее!..

АСТАМУР. Сабир, пиши! Я, Астамур Тарба, ровесник Славы Ершова, проживающий в городе Сухуми по улице Бесплети... Год тому назад закончил Абхазскую секцию актеров театра имени Руставели. Играть на сцене не довелось. Пиши!

ГАГА. Пиши, Сабир! Мои предки и предки Заурбега Цадаса уничтожили друг друга, но наше время так сдружило нас, что и в радости, и в горе мы всегда рядом. Пиши, что изменить этому времени нельзя.

ЗАУРБЕГ. Пиши, Сабир! У Заурбега одно сердце и один кинжал — такой острый, что можно им бриться. Если убьют Заурбега, его кинжал должен остаться у Гаги, потому что хевсур должен отомстить гадам за кровь своего дагестанского брата Заурбега Цадаса!..

ПЕТРОС. Пиши, брат! Мы, братья Варган и Петрос Арсеняны, вместе с другими сынами Кавказа не опозорили эти седые вершины.

ВАРТАН. Вместе с вами, братья, будем держаться до последнего вздоха. Пиши, Сабир!

ЭХО. Пиши, Сабир...

Пиши, Сабир...
Пиши, Сабир...

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Пиши, азербайджанец! Маменькиному Левану позавчера исполнилось двадцать лет... Ни школу не кончил, ни в комсомол не вступил. С блатными водился, был хулиганом. Но до каких пор это могло продолжаться?.. Больше ничего не пиши!

ГАГА. Больше ничего?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Больше ничего, говорю. Обращения и обязательства дают на собраниях. А я еще ничего не сделал, кроме того, что окончил Тбилисское артучилище. Решили, что этого сумасшедшего только армия может образумить! И взяли. Перед уходом бедная мама корову и овцу велела зарезать. Целую неделю кутили. А здесь желудок к спине прирос. Это ты тоже запишешь, Сабир?

НАТИА. Пиши, Сабир! (Улыбнувшись.) Я, Натиа—Светлана—Лусине—Асиват, окончила среднюю школу в маленьком городке Цхакая, который едва виден на карте, и подала документы в Тбилисский мединститут, потому что люблю людей и хочу, чтобы они жили, жили, жили, жили...

ЭХО. Жили...

Жили...

Жили... (Замирает.)

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. А вообще, на кой черт все это нужно?

КАХА-ОТЕЦ. Сабир, дай записи! (Взяв записи, сложил их и запечатал в консервную банку.) Вот на что это нам! (Банку положил у скалы.) Быть может, лет через двадцать-тридцать ее найдут наши ровесники из другого времени... Пусть разделят с нами наше молчание перед последним боем...

Все молчат, прислушиваясь.

ВАРТАН. Идут?

ПЕТРОС. Кажется!

СЛАВА (вскинув автомат). Ничего, еще на две очереди хватит. Сюда группой не поднимутся — по одному уничтожим.

ЗАУРБЕГ. Слава, стой! Не смей стрелять! Нельзя! Все погибнем.

СЛАВА. Не понят?

ЗАУРБЕГ. Разве не видишь, какой снег? Один выстрел — и обрушится лавина, которая погребет всех нас.

ГАГА. Заурбег прав: не только выстрел, а даже громкий голос вызовет лавину. Ни в коем случае нельзя стрелять!

СЛАВА (понижив голос). А что делать? Не на кулачках же драться? Их много, они сытые, они одолеют!

САБИР (прислушивается). Они, да, не стреляют.

ГАГА. Егеря, альпинисты! Знают характер гор.

АСТАМУР (смотрит вниз). Приближаются, черт бы их побрал! Метров двадцать — не больше... Пятеро ползут сюда, остальные распластались внизу... Пятнадцать метров... Десять... Пять... (Поднимает автомат.)

КАХА-ОТЕЦ Астамур!

Но поздно, Астамур дал длинную очередь. Каха увлекает всех под навес скалы. С воем срывается лавина снега. На мгновение она закрывает все зеркало сцены, стремительно рушась вниз. Лавина прошла. Каха поднимается, все — за ним.

КАХА-ОТЕЦ (стряхивая с себя снежную пыль). Благодаря бога, Астамур, что скала выдержала!

АСТАМУР. Прости, Каха! Я — не скала, я не выдержал, когда увидел, как они ползут... С кортиками в зубах... В пяти шагах были!

КАХА-ОТЕЦ (усмехнулся). Теперь им не надо так рисковать! Ползти с кортиками в зубах? Зачем? Пали сколько угодно! До следующего снега лавины можно не опасаться.

ПЕТРОС (заглянул в ущелье). Астамур! Твоя лавина всех пластунов похоронила.

КАХА-ОТЕЦ. У них этих пластунов — дивизия!

Выстрел. Петрос падает.

ВАРТАН. Петрос! (Бросается к нему.)

ПЕТРОС (поднимает голову, тихо). Варган!.. Матери не говори. Скажи: пропал без вести!.. Пускай ждут. Десять лет, двадцать... Она упрямяя у нас, Варган, а? Будет ждать.

ВАРТАН. Будет ждать, будет. Я знаю... Петрос!

Петрос молчит.

Петрос!.. (Бережно закрывает лицо брата краем его шинели. Встает.)

КАХА-ОТЕЦ (Варгану). Убери голову!

Варган быстро приседает. Выстрел, короткий свист пули.

СЛАВА. Свайпер!

КАХА-ОТЕЦ. Лавина не только пластунов накрыла. Она дала возможность снайперу залечь в снегу прямо напротив нас! (Поднимает на прикладе автомата шапку.)

Выстрел.

(Опускает шапку, смотрит.) Хорошо, что под ней не было ничьей головы!

Варган сидит, раскачиваясь и закрыв лицо руками.

НАТИА (подползает к нему, гладит по голове, по рукам). Варган, не надо,

родной! Я знаю: утешить нельзя, невозможно! Но не надо так!

ВАРТАН (отрывает руки от лица).

Каха, пусти!

КАХА-ОТЕЦ. Куда, Вартан?

ВАРТАН. Пусти, рассчитаюсь!

КАХА-ОТЕЦ. Ступай.

ВАРТАН (проверяет автомат). Каха, пока я не увижу этого гада, ты его позабавь: не жалей свою рваную шапку! Ребята, дайте второй автомат.

ГАГА. Зачем тебе?

ВАРТАН. Нужен.

КАХА-ОТЕЦ. На, возьми. (Отдает ему автомат.)

Вартан осторожно спускается с площадки, исчезает. Сколько раз Каха поднимает вверх шапку, столько раз раздается выстрел. Укрывшись между камнями, Маменькин Леван следит за движением Вартана.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Вартан!.. Правее держи! Слышишь?.. За сугроб, за сугроб!

Выстрел.

Вартан!

Все следят за поединком.

КАХА-ОТЕЦ (встревоженно). Вартан!.. Ты что, не слышишь?

ГАГА. Вартан! Подними автомат!

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (нетерпеливо поднялся над укрытием). Вартан!

Раздается выстрел. Леван медленно опускается, снова смотрит из-за камней вниз.

НАТИА (повернула голову к Левану.) Ты что?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Ничего, сестричка. Верно, в меня целил, да промахнулся: так далеко пуля прошла, что я и не слышал, как просвистела. (Вытирает шею платком, незаметно сует платок за воротник.)

СЛАВА (кричит). Вартан! (Пауза.) Каха, я пойду.

КАХА-ОТЕЦ. Постой, Слава. (Напряженно смотрит.) Видишь, там, за расселиной, сугроб зашевелился?

СЛАВА. Вижу, Каха.

КАХА-ОТЕЦ. Что еще видишь?

СЛАВА. Фашиста вижу. К Вартану ползет. Я пойду, Каха!

КАХА-ОТЕЦ. Стой!

Автоматная очередь.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (кричит). Вартан! Молодец!

КАХА-ОТЕЦ. Все! Одним фашистским снайпером меньше на земле.

АСТАМУР (восторженно). Вот зачем ему два автомата понадобилось! Один бросил, притворился мертвым, а из другого рассчитался за Петроса!

Все отходят от укрывших их камней, не опасаясь снайпера. Раздается выстрел. Все замерли.

КАХА-ОТЕЦ. Вартан!..

Все снова кинулись к камням, смотрят вниз. Слава снял шапку. За ним — остальные.

СЛАВА (глухо). Пусти, Маменькин Леван!.. Только сейчас я перь. Сквитаюсь за Вартана и... автоматы возьму.

Каха поднимает шапку. Выстрел. Шапка падает к ногам Каха.

КАХА-ОТЕЦ. Вести себя осторожно! (Славя.) Дождем ночи. И Вартана, и автоматы возьмем... Семеро нас осталось, Слава!

Маменькин Леван внезапно падает.

НАТИА (бросается к нему). Леван, что с тобой?

Присев на корточки, Слава трет ему снегом лоб. Натиа расстегивает воротник гимнастерки Левана, достает окровавленный платок.

ГАГА. Он ранен!

КАХА-ОТЕЦ. Леван! Почему не сказал?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. А чем бы вы мне помогли? (Приподнявшись, посмотрел в пустоту. Усмехнулся.) Эй, что стоишь?

Все тревожно проследили за взглядом Левана.

Подходи, подходи, поговорим напоследок...

КАХА-ОТЕЦ (несколько растеряно). Кто там, Леван?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Разве не видишь?

КАХА-ОТЕЦ. Нет, брат, не вижу. МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Вон, стоит в уголке... (В пустоту.) Что, трусишь?.. А еще с косою! (Появляется Каха-сын.) Вот и твой сын появился, Натиа!

НАТИА. Леван!.. (Опускается рядом с ним, поддерживая его.)

Леван приподнялся, опершись о руку Натии. Все обступили его тесным кольцом, поддерживая.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Поднимите меня, ребята! На ноги хочу встать.

КАХА-ОТЕЦ. Зачем, дорогой? Так тебе спокойнее.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Зачем спокойнее?.. Я с ней ругаться буду. Стоять удобнее.

Его бережно поднимают.

(В пустоту.) Ну вот. Теперь спрашивай.

КАХА-СЫН. Поразительно!

САБИР (пытаясь шутить сквозь слезы в голосе). Она, что же, еще и вопросы задает?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (улыбается). Вот такую анкетницу в руках держит, старая бюрократка... Сейчас заполнить будет... (Яростно, в пустоту.) Ну, двадцать, двадцать мне только что стукнуло!

НАТИА. Леван!.. (Нежно гладит его.)

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (Натии). Хочешь узнать, что она теперь говорит?

НАТИА (плача). Не хочу, Леван...
Нет, скажи все-таки...

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (с удивлени-
ем). А вы что, не слышите?

Все сурово молчат.

Ах, да! Верно!.. Вам еще ее не слы-
хать!.. «Хватит, — говорит, — идем! Со-
бирай манатки!» (В пустоту.) Эй, чего
спешить? Давай выпьем на дорогу, а?..
Не хочет. Говорит, вредно ей — старая
больно!.. (Уронил голову, но тут же
вскинул ее, согласив себя. В пустоту)
Послушай, согласен, веди меня, черт с
тобой!.. Дай только раз прогуляться над
Алазанью... Только раз дай еще погля-
деть на нее с Сигнахской крепости!..

Натиа пытается сделать ему пе-
ревязку.

НАТИА (осторожно поднимает вновь
поинкшую голову Левана). Ну?.. (С
тревогой.) Что же ты замолчал? (Чтоб
расшевелить Левана.) Что она тебе
сказала?

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. А? (Устало
улыбнулся.) Что сказала?.. «Ты, милый,
перехитрить меня хочешь! Если я дам
тебе взглянуть на Алазань, ты меня на
пушечный выстрел потом не подпус-
тишь!..»

КАХА-ОТЕЦ (прижав к себе Лева-
на, кричит в пустоту). Через месяц в
Кахети сбор винограда, дай ему попро-
бовать свежего вина, холера ты этакая!

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН (вдруг расхо-
хотался). Нельзя, брат, нельзя! Вино —
как напиток бессмертия... Сабир, где ты?

САБИР. Я здесь, джанум.

МАМЕНЬКИН ЛЕВАН. Пиши, Са-
бир!.. Скоро у нас сбор винограда...
Жду друзей из Азербайджана, своих со-
бугильников... И ты должен быть там.
Приглашаю!.. Каха! Натиа! Всех... (На-
тия.) Значит, последний бинт на меня
изводишь? (Срывает часть повязки, на-
ложенную Натией.) Петрос! Вартан!
К вам иду!.. Праздник у нас, сбор вино-
града!.. Видите, столы ломаются, а? Аста-
мур, научи меня готовить сациви, а ма-
малыга и сыр в Гурджаани найдутся. (В
пустоту.) Эй ты, на минутку, только на
минутку посади меня в Гурджаани с
братьями, чтобы спеть хоть одну застоль-
ную?.. Что? И спеть не даешь? Ну зна-
ешь, я все-таки пока еще не твой Ле-
ван, я еще Маменькин Леван! (Громко
запевает застольную. Шатаясь и оттол-
нув всех, идет в пустоту. Падает.)

Но застольная песня продолжается
Это из всех ущелий повторяет голос
Левана, и все эти голоса сплелись в
многоголосицу. Песня ширится, растет
и вдруг обрывается на самой высокой
ноте. Все молчат, опустив головы. Тем-
неет.

* * *

Слышится грустная мелодия губ-
ной гармошки. Светает. Показался
немецкий лагерь. Отдыхают егеря.

Один играет на губной гармошке,
другой скорчился в неестественной
позе и дрожащими руками выводит
буквы. На авансцене появляются

Каха-отец и Каха-сын

КАХА-СЫН. Вот и они. Обыкновен-
ные парни.

КАХА-ОТЕЦ. Обычно люди похожи
друг на друга, но они...

КАХА-СЫН. И они обыкновенные. Я
видел их в Берлине, Бонне. Кажется,
ничем от нас не отличаются. У них тоже
есть государство, как и мы, они строят
заводы, комфортабельные квартиры, ходят
в рестораны, рожают детей, любят
Моцарта, Бетховена...

КАХА-ОТЕЦ. Ты был там сейчас. Ви-
дел бы их тогда.

КАХА-СЫН. Я и Освенцим видел.

КАХА-ОТЕЦ. Ну и что же?

КАХА-СЫН. Ужас, что я там видел,
но...

КАХА-ОТЕЦ. Что, но?

КАХА-СЫН. Вот видишь того егеря,
который скорчился и что-то пишет обмо-
роженными пальцами? Это поэт. Отец
моего хорошего знакомого Георг Шу-
стер. И он здесь погиб.

ШУСТЕР. Там, где летчики кружатся
над горами,
Где чернеют хижины среди камней и
льдов,

Там, где холод, голод, вши,
смертная тоска
Гнут и корежат тело человека, —
Там поют альпийские стрелки:
— О, верните нас домой, в Германию!

И когда пришла на перевалы осень,
Альпийские стрелки лежали среди скал,
Жуя заплесневелый хлеб
И вместо папирос куря тоскливо
горький чай.

Теперь они уже не пели, а шептали:
— О, верните нас домой, в Германию!

А когда зима дохнула снежной стужей,
В горах навек застыли трупы
Обледенелые альпийских стрелков,
И уже никто из них, никто не мог

разжать рот,
Чтобы сказать об их последней воле:
— О, верните нас домой, в Германию!*

КАХА-СЫН. Слышешь, отец, какое
у него настроение, у Георга Шустера?

КАХА-ОТЕЦ. Но он единственный,
очевидно, среди них.

ШУСТЕР. Нет, в этом стихе я выра-
зил общее настроение.

КАХА-ОТЕЦ. Если так, что вам здесь
нужно, в наших горах?

ШУСТЕР. Мы боремся за ваше осво-
буждение.

* Эти стихи, сложенные немецкими еге-
рями в горах Кавказа, были записаны в
перевод на русский язык писателем Вита-
лием Закруткиным.

КАХА-ОТЕЦ (сыну). Слышишь, что поворит?

КАХА-СЫН (Шустеру). Я знаю вашего сына Ганса Шустера. Он был в Тбилиси, и я был у него в Дюссельдорфе. Отличный парень, мы подружились с ним.

ШУСТЕР. А мы, я и ваш отец, вот-вот сцепимся. Или я, или он, другого выхода нет.

КАХА-ОТЕЦ. Да, другого выхода нет, но я прав. Ты ворвался на мою землю, и я обязан, должен убить тебя.

КАХА-СЫН. Ты прав, отец. Я бы тоже так поступил. Но Ганс Шустер не повторит ошибку отца.

* * *

Издали доносятся звуки пандури. Ребята молчат.

ГАГА (встрепенувшись). Словно пандури где-то поет? А?..

АСТАМУР. Твои сестры. Твои сестры в деревне Шатили победу празднуют.

ГАГА. Ох, когда это будет! Оттуда звуки пандури до нас не донеслись бы.

ЗАУРБЕГ. Тебя поминают, поди.

КАХА-ОТЕЦ. Отставить! Жить будем до самой смерти, раньше не помрем! Ясно?

ГАГА. Ясно, дорогой, ясно. Куда яснее!

НАТИА (подняв голову, застывает в ужасе. Кричит). Каха!.. (Показывает на неизвестно откуда появившуюся фигуру в белом.)

КАХА-ОТЕЦ (вскинув автомат). Стой!

Фигура сбрасывает маскировочный халат. Это — Серго.

НАТИА (тихо). Серго!

СЕРГО, Я, я!

Пауза.

КАХА-ОТЕЦ (проводит ладонью по лбу, по лицу, словно стирая то, что пришлось только что пережить. К Серго). Из части?

СЕРГО. Да.

ЗАУРБЕГ. Как ты сюда смог подняться?

СЛАВА. Кругом же фрицы!

НАТИА. Я знала, знала: Серго вернется!

СЛАВА. Тебе что, приказали вернуться?

СЕРГО. Каха, пусть замолчит этот потийский русачок, а то шоколадки не получит! (Достаёт несколько больших плиток шоколада, торжественно вручает Натии, сует Славе, оделяет всех. Три плитки остаются в его руках.) Петрос!.. Вартан!.. Эй ты, Маменькин шаполай!.. Где ребята, Каха? В разведке?

Пауза.

КАХА-ОТЕЦ. Нету их, Серго. Нету ребят.

Серго садится на землю, обхватывает голову руками. Плечи его начинают трестись.

СЕРГО (поднимает лицо к Кахе). Я... я виноват!

НАТИА. Ты при чем, Серго?

СЕРГО. Слава, родной... Мне никто не приказывал. Сам, сам отпросился... но.

СЛАВА. Верю, Серго.

КАХА-ОТЕЦ (Серго). Ладно, успокойся. Ребята, ешьте шоколад, надо подкрепиться. Серго! Да ну же!.. Успокойся и расскажи.

СЕРГО. Наша часть передислоцировалась и оказалась здесь, недалеко, в деревне Чхалта... Детей и девочку отправили в Сухуми. Наши знали, что мы окружены, только не знали точной дислокации егерей. Я дожидал данные разведки и попросил разрешения вернуться к вам.

КАХА-ОТЕЦ. Как тебе удалось, шальная голова?

СЕРГО. Сам не знаю, Каха! Рация работает?

ГАГА. Нет. И потом — Вартан...

СЕРГО. Да. Значит, опять идти надо.

КАХА-ОТЕЦ. В чем дело?

СЕРГО. «Эдельвейс» окружен...

СЛАВА (вскочив). Что?.. «Эдельвейс» окружен? Что же ты молчишь о самом главном?!

КАХА-ОТЕЦ. «Эдельвейс» действительно окружен?

СЕРГО. Да. Наши вот-вот должны замкнуть окружение.

КАХА-ОТЕЦ. Это хорошо! Это очень хорошо! Зачем рация? Что передать хотел? Куда тебе опять идти надо?

СЕРГО. «Эдельвейс» окружен, но с северной части Маруха у них есть тропа, о которой наши не знают. Только я знаю; пока лез сюда — разведка. По этой тропе они могут получить помощь.

ЗАУРБЕГ. Действительно, надо сообщить нашим!

КАХА-ОТЕЦ. Это невозможно!

СЕРГО. Почему, Каха? Я как-нибудь проберусь. (Улыбнулся.) Уже есть опыт!

КАХА-ОТЕЦ. Сколько времени понадобится?

СЕРГО (прикидывает). Н-ну... часа два-три, не больше.

КАХА-ОТЕЦ. Но и не меньше?

СЕРГО. Нет, меньше никак не получится.

КАХА-ОТЕЦ. Серго, дорогой! Неужели ты думаешь, что в частях, которые окружили «Эдельвейс», нет своей разведки? Неужели ты думаешь, что хороший разведчик Серго Сартанна — единственный разведчик, который мог узнать об этой предательской тропе на севере Маруха?

СЕРГО. Я не думаю, Каха, но...

КАХА-ОТЕЦ (перебивает его). Я тоже не думаю. Я думаю о другом. Я думаю, что мы — звено этого окружения, причем самое слабое звено. Немцы это отлично знают и выйти попытаются че-

рез нас, сквозь нас, по нашим трупам — но именно в этом месте.

СЛАВА. Каха! Это же дивизия, а нас...

КАХА-ОТЕЦ. Да. Нас теперь восемь человек. Это очень много, потому что совсем недавно было семь. Серго! В автомате у тебя как?

СЕРГО. Две очереди.

САБИР. У меня очередь и две лимонки.

СЛАВА (у него заблестели глаза). Дай одну.

САБИР. Берегу на черный день.

СЛАВА. Чернее дня не придумаешь, Сабир, дай!

САБИР. Ладно, бери. (Дает ему гранату.)

С л а в а спрятал ее за пазуху, вскочил. Он полон жажды деятельности.

СЛАВА. Каха, что делать надо?

КАХА-ОТЕЦ. Отдохнуть, Слава. Это — приказ.

Расположились кто как. Помолчали. С л а в а попытался прикорнуть, положив под голову ушанку. Но повертелся и сел, прислонившись к скале.

СЛАВА (задумчиво). Сколько будет побед, в которых нам не участвовать!..

Пауза. Все лежат или сидят с широко раскрытыми глазами, думая каждый о чем-то своем.

КАХА-ОТЕЦ. Без нас не может быть этих побед, Слава. Без нашего перевала, без гибели Вартана, Петроса, Маменькиного Левана не может быть этих побед! Мы все войдем в Берлин.

НАТИА. Странно! Будущее всегда казалось рядом, совсем близко. В десятом классе будущее — это первый курс института... Совсем рукой подать! Аттестат, еще несколько экзаменов — и вот оно, будущее: ты студентка! Тогда наступает еще одно близкое будущее — диплом. Всего каких-нибудь пять лет, и ты спасаешь от смерти, приносишь облегчение больным... В тайге, в тундре, в песках школьная романтика, грезы о будущем оборачиваются обыкновенной профессией и необыкновенной радостью от удивительного чувства: ты нужна, тебя ждут, тобой гордятся, если ты помог человеку... Наверное, это и есть чувство собственного достоинства?

КАХА-ОТЕЦ. Да, наверное. Чувство собственного достоинства!.. Его человек должен получить как награду от других людей... Думаю, так, а? За доброту, за совесть...

СЕРГО. Странно как: сколько мы уже вместе, а никогда еще так не говорили.

САБИР. Все времени не было, джанум. Понимаешь? А сейчас — вроде воскресенье перед смертью. (Появляется Каха-сын.)

НАТИА (думая о своем). Вот я и говорю: все время думала о будущем, и оно было рядом, близко, и обязательно

я там. А теперь далеко... Совсем далеко... И без нас. Интересно, какие песни будут петь?

АСТАМУР (не без иронии). Про нас будут петь.

САБИР. А что? Первое время, наверное, будут. Ну... про нас вообще... А потом зачем про нас? Другая беда, другая радость, другая песня... Нам не понять. (Указывает на Каха-сына). Они про свое петь будут.

СЕРГО. А мы — не свое?

САБИР. Свое, джанум, свое. Только зачем им старое вспоминать? Лет пять попомнят, залечат раны, и раз в год — цветы на памятник.

НАТИА. Прав ли Сабир, Каха?

КАХА-СЫН. Совершенно прав, мама! Все задумались. Издалека, тихо, словно запел воздух, возникла едва слышная мелодия. В аккомпанементе — легкая дробь барабана, словно барабанщик едва прикасается палочками к барабанной коже. И вдруг возник звонкий мальчишеский голос:

...До Эльбы до самой
Солдаты дошли,
Как истина — сами,
Шинели в пыли...

Мы помним то небо,
Марухское небо,
Пылавшее гневно.
Застывшее немо!..

И голос усталый:
«Оставили город».
Вокзалы...
Вокзалы...
И горе, и голод,

И письма оттуда,
Что черные кони.
Живется куда —
Мы помним!
Мы помним!
Мы помним!
Мы помним!..

Солдаты, солдаты,
Вы жили, вы были,
Ребята, ребята,
Вы сделались былью,
Вы сделались былью,
Вы сделались снами,
Ребята, ребята,
Вы с нами, вы с нами.

Седые от снега,
Седые от пыли,
По вражьему следу
Шагали не вы ли?

До Эльбы до самой
Ребята дошли,
Как истина — сами,
Шинели в пыли.

Мы помним то небо,
Марухское небо,

Пылавшее гневно,
Застывшее немое...
И сводки оттуда,
Что черные кони.
Живется покуда —
Мы помним!
Мы помним!
Мы помним!
Мы помним!.. (Каха-сын уходит.)

Голос смолк. Повторило, замирая в горах эхо:

Мы помним!..
Мы помним!..
Мы помним!..

Пауза. Все сидят задумавшись. И вдруг далеко прозвучала пронзительная тирольская ружада. Ей ответила такая же ружада поближе. То ближе, то дальше со всех сторон понеслась переключка горных частей «Эдельвейса».

КАХА-ОТЕЦ (вскочив). Приготовиться к бою!

СЛАВА (тихо). Идут!..

Где-то занели губные гармоники, и под их приближающиеся звуки, спроецированные на весь задник сцены, прямо на нас, окружая площадку, двинулись тени немецких лыжников. Ритмично взмахивая палками, тени приближаются, вырастают до неестественных размеров. Короткая лающая команда. Тени замерли, словно нависнув над площадкой. Кто-то неподалеку щелчком попробовал микрофон. И раздался голос немецкого агитатора: «Кавказские офицеры и солдаты! Ваше сопротивление бессмысленно. Ваши восемьсот восьмой и восемьсот десятый полки, которые укрепились у Марухского перевала, полностью уничтожены. Наша армия уже взяла Сочи, Сухуми, Кутаиси и с триумфом шествует к столице Грузии Тбилиси. Бросайте оружие, сдавайтесь!.. Победители благородно относятся к побежденным. Даем вам честное слово, что обращаться с вами будем как с достойными солдатами. Помните, мы не воюем с Грузией, Арменией, Азербайджаном и другими маленькими нациями Кавказа. Мы воюем только против Советской России!.. Даем на размышление пять минут».

ГАГА. Собачье отродье!

САБИР. Донгуз кёп оглы!

СЛАВА. Провокаторы, мать их так!

СЕРГО. Еще разговаривают, окруженцы!

КАХА-ОТЕЦ. Слава!

СЛАВА. Есть!

КАХА-ОТЕЦ. Слава, пять минут прошло?

СЛАВА (смотрит на часы). Прощай, Каха.

Подняв автомат, Каха дает новую очередь. Несколько теней исчезают. Но тут же вместо них возникают новые. Загрохотал ответный огонь. Припав к камням, ребята стреляют то прицельно, то короткими очередями.

ЗАУРБЕГ (бросает автомат). Все! Стрелять нечем, Каха. (Достает кинжал, пробует лезвие.)

СЕРГО (яростно нажимает на спусковую собачку, автомат молчит). Все, Каха! Теперь только прикладом! (Перехватывает поудобнее автомат.)

АСТАМУР. Получай последнюю, гад! (Стреляет, кладет автомат, вытирает тыльной стороной ладони лоб, достает кинжал.)

Гага, Сабир и Слава, ругаясь яростно щелкают затворами пустых автоматов. Каха дает короткую очередь и, уронив автомат, хватается за грудь. Медленно опускается на землю.

НАТИА. Каха! (Поддерживая его, пытается расстегнуть на нем шинель.)

КАХА-ОТЕЦ (отстранив ее). Серго! Возьми автомат, там еще немного есть.

Схватив автомат Каха, Серго делает несколько выстрелов. Снова — как и во время всей перестрелки — исчезают тени, но тут же возникают новые. Серго отбросил пустой автомат и заглянул с площадки вниз.

СЕРГО. Они накапливаются в расщелине.

КАХА-ОТЕЦ. Много их уже там?

СЕРГО. Отделения три.

КАХА-ОТЕЦ. Сабир! Гранату!

САБИР. Есть!

Выхватив из-за пазухи гранату, Сабир кидает ее вниз. Взрыв. Яростные крики егерей. Слава тоже достал гранату, снял с предохранителя.

КАХА-ОТЕЦ. Слава! Стой! Дай мне.

Слава нехотя отдает ему гранату.

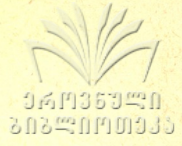
Ребята! Прощаться некогда. Пока они не пришли в себя — в кинжалы их! В приклады! Вперед!.. (Обессиленно опускается.)

СЛАВА. Каха!

КАХА-ОТЕЦ. Вперед!

С кинжалами в зубах, схватив автоматы за стволы, Сабир, Слава, Гага, Серго, Астамур, Заурбег прыгают с площадки. Раздаются крики, выстрелы. Вдруг все смолкает. Тишина.

КАХА-ОТЕЦ (прислушивается, тревожно). Что там?



Натиа подползла к краю площадки, заглянула вниз.

НАТИА. Каха! Ребят скрутили... Егоря ползут сюда... (Кричит вниз.) Слава! Сабир! Ребята!..

ГОЛОС ЗАУРВЕГА. Каха! Бросай гранату! Все равно нам не уйти живыми!

ГОЛОС ГАГИ. Бросай, Каха!

ГОЛОС СЕРГО. Хоть этих гадов заберем с собой!

ГОЛОС САБИРА. Что мучишь нас? Бросай! Пожалей нас, Каха!..

Схватившись за выступ скалы, Каха поднимается.

НАТИА. Каха!..

КАХА-ОТЕЦ. Натиа, поддержи меня. Бросок должен быть точным.

НАТИА (отступая от него, отрицательно качает головой. Тихо). Там ребята... Наши..

КАХА-ОТЕЦ. Я приказываю тебе!

Натиа подходит. Каха одной рукой опирается о ее плечо, другой заносит гранату... Аккорд музыки, как взрыв, совпадает с мгновенной и полной темнотой. И медленно, словно поднимающимся из-за гор солнцем, озаряется мемориал «Ледяным Братьям». ...Ледяная фигура бойца, занесшего для броска гранату. Боец, видимо, ослабел от ран: ледяная девушка поддерживает его. За сценой хор:

Триста апрелей знала ворона.
Триста июней ворон встречал.
Жизнь человека — вроде паромы:
Только отчалишь —
Глядишь и причал.
День, удаляясь, движется к пашням,
Может быть — вторник,
Может — среда...

Станет вчерашним,
Позавчерашним,
Только вот завтрашним —
Никогда...
Слава погибшим —
храбрым и честным!
Кровь их —
победы нашей цена.
Да не угаснут,
да не исчезнут,
Да не сотрутся
Их имена!..

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Гага Мигриаули!

ГОЛОС. Здесь!

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Астамур Тарбал

ГОЛОС. Я!..

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Слава Ершов!

ГОЛОС СЛАВЫ. Живой!

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Заурбег Цада!

ГОЛОС. Здесь!

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Петрос Арсенян, Вартан Арсенян!

ГОЛОС. Мы!

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Сабир Бабаоглы!

ГОЛОС. Здесь!

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Серго Сарташян!

ГОЛОС. Что ты хочешь?! И тут не даешь покоя!

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Леван Кахниашвили!

ГОЛОС. Тут я, тут.

ГОЛОС КАХА-ОТЦА. Натиа Джагани!

ГОЛОС. Я всегда с тобой, Каха!

Освещается группа молодых ребят в альпинистских костюмах, среди них — девушка. На авансцене Каха-сын. Сняв шапки, ребята смотрят на «Ледяных братьев».

ЗАНАВЕС

Перевод и сценическое редактирование В. КОРОСТЫЛЕВА





ТАЙНЫ САБТАУНА БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ...

Рассказ

ным тоном прерывает Арч. — Ведь мы идем в клуб, ты наверняка будешь весь вечер уиваться около миссис Кэтрин Кэрнсфильд, и воспоминания о жене могут только помешать тебе.

— Не помешают. Не такой уж я сентиментальный шноя, — с пафосом говорит Самюэль. — Однако мне кажется, Кэтрин больше увлечена тобой...

— Великолепное творение человеческого гения наш Сабтаун! — восклицает Арч. — Посмотри на этот горизонт, разве отличить его от настоящего?

— Ну его к черту, этот Сабтаун! — Коорисмэна вовсе не интересует красота города. — Не город, а мертвечина какая-то, ни одного хорошего бара, ни одной порядочной девушки, ни черта для развлечений...

— Баров нет, это верно, зато есть офицерский клуб и...

— Что мне этот клуб! В нем одни офицерские жены, чопорные, безмерно влюбленные в себя и испорченные до мозга костей...

Арч смеется, берет за плечи друга и увлекает его в здание, откуда слышны звуки джаза, играющего мелодию модного шейка.

Вдоль высоких стеклянных стен огромного зала выстроились низенькие столики. Почти все они заняты. Появление офицеров не остается незамеченным. Сидящие за самым дальним столиком через весь зал машут им, приглашая к себе.

— Вот видишь, — почти кричит в ухо своему другу Арч, — миссис Кэрнсфильд ждет тебя... Эге, да она не одна! С ней какая-то девица...

Арч и Самюэль пробираются через зал. Их встречают бурными приветствиями. Единственный за столом мужчина Билл Бомбек, немолодой капитан с во-

К семи вечера офицеры и дамы, как всегда, собрались в клубе, в красивом современном здании, одиноко стоящем на пологом холме в нескольких сотнях метров от основных причалов порта Сабтауна.

Несколько опаздывают Арч Лорд и Самюэль Коорисмэн. Эти офицеры — неразлучные друзья. Арч Лорд — высокий, широкоплечий, черноволосый, живой, энергичный. Самюэль Коорисмэн — невысокий, с узкими, как у женщины, плечами. Оба работают в штабе флотилии атомных подводных лодок под условным названием «Дунга-Мурнсверлд», живут в одной квартире. Все свободное время они проводят вместе, и проводят его в основном в офицерском клубе — единственном месте, где можно посидеть за стананом виски или джина, повеселиться и отдохнуть.

— Опаздываем, Арч, — на ходу вытаскивая из бокового кармана брюк огромные часы и глянув на них, говорит Самюэль высоким, почти писклявым голосом.

— Я все хочу спросить: откуда у тебя эти часы? — с лукавой улыбкой спрашивает приятеля Лорд. — Вчера, в твоё отсутствие, мне понадобилось забить гвоздь в стену, и я воспользовался ими. Ты меня извини, ради бога.

— Да что ты! — восклицает Самюэль и вновь вытаскивает часы. — Да, точно, вот царапины, следы удара о головку гвоздя, черт побери! Ведь эти часы — подарок отца любимой Мэри...

— Тс! Не говори о жене! — серьезно

досами цвета перепревшей соломы и настолько заплывшими глазами, что их почти не видно, целует сперва Арча, а затем и Самюэля.

Кэтрин Кэрнсфильд все сияет. Это двадцатидвухлетняя женщина, сухощавая и стройная, с красивым овалом румяного, свежего, словно у ребенка, лица. Коорисмен, забыв о правилах приличия, стоит как окаменевший и смотрит на нее в упор. Его выводит из оцепенения Арч.

— Ты что стоишь, как памятник погибшим от обжорства! С тобой девушку знакомят. Она прибыла с Большой земли специально для тебя, понимаешь?

— Нравится вам моя кузина Арабелла? — обращается вдруг к Арчу болтливая Кэтрин. — Она очень славная, правда?

— Арабелла? Хороша-а, хороша-а! — тянет Самюэль, не дожидаясь ответа своего друга. — За нее полжизни отдашь, как минимум... Давайте выпьем за то, чтобы Арабелле понравился наш Сабтаун и она подольше погостила бы у нас!

Под собственные шумные одобрительные возгласы все отпивают из бокалов. Билл, уже достаточно захмелевший, целует Арабеллу в щеку.

— Я вижу, смелее всех тут оказался Бомбек, — заключает Кэтрин, — он целует девушку и не боится жены. Остальные мужчины страшатся даже отсутствующих жен.

Все смеются, и Кэтрин громче всех.

— Нравится вам наш город, Арабелла?

— Да, очень все нравится, — перехватывает Кэтрин, — главное, здесь много женихов, и все они веселые парни. Но она никак не может согласиться с тем, что сам город глубоко под землей, на дне, можно сказать, океана...

— Ну, она, пожалуй, права, — с улыбкой возражает Арч, — Сабтаун выше уровня моря, он внутри громадного скалистого острова, в искусственно созданной пустоте внутри гранитных скал.

— Как? Ведь наше море находится внутри, оно же внизу, на дне океана? — лицо Кэтрин принимает серьезное выражение. — Вы, наверное, не так понимаете, вы только командор еще, мой муж уже кэптин, и он мне объяснил, что мы находимся на дне большого, очень большого океана...

— Наше внутреннее море сообщается с океаном, уровни их одинаковы, но мы находимся внутри скалистого острова, а океан снаружи, — Самюэль явно удивлен ограниченностью воображения обожаемой им Кэтрин, — мы находимся как бы под большим гранитным колпаком, который глубоко под водой имеет отверстие, служащее входными воротами...

— Ах, Морковка, молчите, ради бога, вы вообще ничего не знаете! — и Кэтрин, услышав звуки нового танца, словно забывает все, о чем только что спорила, хватая за руку Арча и увлекает его танцевать.

Арч обычно не проявлял особого интереса к миссис Кэтрин, хотя и чувствовал себя в ее обществе хорошо. Его забавляла беззаботная болтовня этой хорошенькой женщины.

— Сегодня последняя ночь, завтра Вассел дома, — таинственно шепчет Кэтрин на ухо партнеру.

Молчание Лорда Кэтрин, очевидно, истолковывает как недогадливость неопытного кавалера и продолжает:

— Надеюсь, вы проводите меня до дома, — она, как острыми иглами, колет пристальным взглядом молчащего Арча, словно подхлестывая его.

— Морковка уйдет нас обоих, — Арч не знает, как отговориться от приглашения. — он ведь зверски ревнив?

— Нет, Арч! — вздох Кэтрин удивил офицера. — Может быть, я ошибаюсь, но... этого типа, мне кажется, интересует больше мой муж, нежели я, — Кэтрин будто пугается собственных слов и, спутав па, наступает на ногу немало удивленному кавалеру. Джаз умолк, Кэтрин берет под руку Арча, и они идут к своему столу.

— Я вас не понял, миссис Кэтрин, — говорит Арч, — что значит: «интересует больше муж»?

— Ах, дорогой Арч, — как-то беспомощно вздыхает Кэтрин, — почему-то я верю вам... Я так боюсь за Вассела. Ведь он командует такой опасной экспериментальной атомной подводной лодкой, а тут еще...

— Не понимаю, — говорит Арч, вопросительно глядя в лицо Кэтрин.

— Скажу потом. Пойдемте, на нас обращают внимание.

Арч Лорд впервые слышит в голосе этой, казалось бы, пустой, ветреной женщины нотки глубокой тревоги. Это неожиданно для него.

Следующий танец как ветром смывает всех со стульев. На этот раз в паре с Арчем оказывается Арабелла. К концу танца они едва дышат от усталости, и Арабелла предлагает выйти на улицу.

На голубовато-темном небе мерцают звезды, дует слабый ветерок, подергивая спокойное море едва приметной рябью. Справа на горизонте виднеется мыс, маячные знаки.

— Трудно представить, что все это создано руками человека! — восклицает девушка, жадно всматриваясь в морскую даль.

— Да, все это сделано человеком, — в тон ей отвечает Арч, всматриваясь в лицо девушки, — но мы отнюдь не на дне океана!

— Это я понимаю, — по лицу девушки пробегает лукавая улыбка, — не знаю только, как этого не знает Кэтрин. Правда, Кэтрин мастер притворяться. Для чего-то, видно, это ей нужно. В то же время многого и я не понимаю: зачем здесь, например, это звездное небо, искусственный ветерок, декоративная зелень, холмы, кажущийся таким далеким горизонт и прочее?

— Как зачем? Здесь экипажи подводных лодок проводят много времени: ремонтируются, отдыхают, учатся... Они же должны чувствовать себя в нормальных условиях!

— Это, конечно, так. Комфорт и удобства. Но... как все это, должно быть, дорого стоит! — протягивает Арабелла.

— Вы считаете, что подводники не достойны этого?

— Интересно, есть ли у русских такие секретные базы атомных подводных лодок? — вдруг, будто желая застать врасплох собеседника, спрашивает девушка.

— Хм, — с улыбкой мотает головой Арч, — ответить на такой вопрос трудно. Думаю, имеют. Может быть, они даже раньше нас их построили...

— Тогда зачем же им шпионить за нами? — девушка останавливается и вопросительно смотрит в лицо Арча.

— Забавная вы девушка, Арабелла. Почему вы думаете, что Советы за нами шпионят?

— Значит, кто-то другой шпионит за нами. Иначе я не была бы тут.

— Вот как? Интересно! — смеется Арч.

— Не верите? — с обидой говорит Арабелла. — Вы меня считаете маленькой и глупенькой, да? Если хотите знать, моего папу специально послали сюда поймать какого-то агента иностранной разведки, который проник в Сабтаун. А он не поехал без меня. Скоро он приедет, вот увидите...

— Простите, Арабелла, я, к стыду своему, даже не знаю, чья вы дочь.

— Так вы интересуетесь девушками? — смеется Арабелла.

— Девушками, особенно такими красивыми, интересуюсь, но их папами...

— Моего отца зовут Гарри Вудстоун! — торжественно произносит Арабелла и внимательно вглядывается в лицо собеседника, любуясь произведенным впечатлением.

Однако девушку, очевидно, разочаровывает реакция Арча Лорда.

— Интересно, — спокойно произносит Арч. — Значит, вы дочь знаменитого начальника контрразведки центра командора Вудстоуна? Завидная невеста!

— Не заметно, чтобы я вам понравилась, — смеется девушка и берет под руку офицера. — Пошли!

— Слушайте, милые мои, это просто неприлично! На глазах у всех уйти ворковать куда-то в кусты! Я бы не решилась, например, — говорит Кэтрин, встречая их у столика.

— За тех, кто в море, пропустим по плоточку? — к столу подходит Самюэль.

— Мы ведь уже пили за это? — возражает Арч.

— Разве? — удивляется Самюэль.

— О-о-о, я вижу, нам пить больше нельзя, — смеется Кэтрин и бесцеремонно берет под руку Арча. — Давайте пройдемся по залам клуба.

Через несколько минут они оказываются на улице.

— Не вернемся больше в клуб, ладно? — вдруг предлагает Кэтрин, выразительно глядя на спутника.

— Но что о нас подумают?

— Наплевать, что бы они ни подумали, — говорит Кэтрин, — главное: Вассел мне верит и... и даже прощает некоторые вольности. А до остальных нет дела.

Некоторое время они идут молча. Медленно спускаются по баллюстраде, доходят до Припортовой улицы и направляются влево, по тропинке, ведущей на удаленный мыс Даблки. Там — они знают — есть укромные зеленые уголки со скамейками.

— Милый мой, — томно шепчет Кэтрин, — можно задать вам один вопрос? Я знаю, что нехорошо, тем более жене офицера задавать такие вопросы, но... для меня это имеет важное значение и...

Арч жестом руки предлагает ей присесть на скамейку под искусственной пальмой, огромным зонтом укрывающей всю небольшую площадку на самом краю мыса.

— Видите ли, миссис Кэрнсфильд, — явно нехотя начинает Арч, — я отведу на любой вопрос, если это не будет выходить за пределы дозволенного присягой.

— Я не знаю пределов присяги. Мне важно знать, чем занимается, кем работает у вас в штабе офицер Коорисмэн, вернее, имеет ли он отношение к нашей контрразведке, может или обязан ли он следить за другими офицерами, в частности, за командирами подводных лодок, в том числе и за моим мужем?

— Хм, — задумывается Арч и после небольшой паузы цедит сквозь зубы: — Понимаю вас, миссис Кэтрин. Очень противно чувствовать, что за тобой следят недоверчивые глаза. — Помолчав, он продолжает несколько охотнее. — Я, например, этого бы просто не выдержал. Думаю, что и кэптин Кэрнсфильд набьет морду этому негодяю, если догадается. Что касается Самюэля Коорисмэна, он по своему служебному положению не обязан исполнять функции контрразведчика, но вы же знаете, что каждый военнослужащий обязан следить за другими и, при надобности, доносить на них. За это при «удаче» он получает соответствующие выгоды. Есть люди, которые делают бизнес и на таком деле.

— Фу, как это мерзко!

— А я-то думал, что Самюэль вас просто обожает! Откровенно говоря, я ему не раз завидовал.

Кэтрин неожиданно обнимает Арча.

Перевалило далеко за полночь, когда они покинули мыс.

В этом необычном городе в ночное время ничто не нарушает тишины. Здесь нет ни рек, ни птиц, ни обычного городского транспорта. Бодрствовать ночью обязаны только радисты штаба.

В ночной тишине четко звучат шаги Кэтрин и Арча по асфальту Припортовой улицы. Они идут молча, им, кажется, больше не о чем говорить. На углу улиц Припортовой и Джефферсона они останавливаются.

— Дальше нельзя, я пойду одна! — заявляет Кэтрин.

Простившись с Кэтрин, Арч долго ходил по пустынным улицам, прежде чем наконец направился домой..

2

В салоне командира корабля, полулежа на мягком диване, отдыхает после ужина Гарри Вудстоун. Это еще не старый человек, но морщинистое лицо с двумя подбородками, синие мешки под глазами и грузное телосложение делают его стариком. Напротив Вудстоуна в командирском кресле сидит Вассел Кэрнсфильд — высокий, статный кэптин. Оба читают.

В салон входит корреспондент военной газеты Джон Уолдрум.

— Прошли второй условный рубеж, скоро будем всплывать на глубину 80 метров, — глубокий бас вовсе не соответствует щуплой фигурке Уолдрума, и кажется, что это говорит не он, а кто-то другой, — и айда, в ворота акватории знаменитого Сабтауна! Скоро я увижу это чудо-творение гения нашего народа!

— Вам этот город еще надоест, милый друг, — говорит Вудстоун, отложив в сторону книгу и бросив безразличный взгляд на корреспондента.

— Знаю, — отзывается Уолдрум, усаживаясь за стол, заваленный журналами и газетами, — зато атомная война там не страшна.

— Атомная война, между прочим, и вне Сабтауна совсем не так страшна, как о том пишут ваши коллеги, мистер Уолдрум, — смеется Кэрнсфильд и, заложив ногу на ногу, откидывается на спинку кресла, — хотя бы потому, что ее вообще не будет.

— То есть как не будет? — Уолдрум вопросительно косится на командира корабля. — Вам ли об этом говорить?

— Именно мне и говорить об этом, ибо я знаю и уверен в этом. Кто бы из нас, из атомных гигантов, — Америка или Советский Союз — ни применил ракетно-атомные средства ведения войны, обе державы будут сметены с лица Земли. Вам как работнику печати это надо знать, черт побери!

— Ужасно интересно! Убей меня бог, интересно! Может быть, поясните? — с едва уловимой иронией говорит Уолдрум.

Вудстоун пристально смотрит на корреспондента, затем переводит взгляд на командира лодки и, наконец, снова берет в руки книгу.

— Вам как корреспонденту надо знать, что Штаты сейчас располагают большим запасом ракет с атомными боеголовками, — Кэрнсфильд говорит

гладко и заученно. — Около шестисот из них находятся на подводных лодках, постоянно патрулирующих на боевых позициях. Примерно такое же количество глобальных ракет имеется на наших стационарных установках на берегу. Эти разрушительные средства, способные практически уничтожить весь Советский Союз, могут быть выпущены немедленно, по команде из центра. Но так поступить нельзя.

— Почему?

— Потому, что через очень короткий промежуток времени точно таким же способом будет уничтожена вся Америка...

— Постойте, — перебивает недоумевающий корреспондент, — кто же нас уничтожит, если Советский Союз уже перестанет существовать?

— Как кто? Подводные лодки. Советские подводные лодки тоже постоянно патрулируют в океанах, имея на борту начиненные атомными боеголовками ракеты большой дальности. Ведь эти лодки практически неуязвимы. Пока что с атомными подлодками, плавающими в глубинах океана, сколько-нибудь эффективных способов борьбы нет. Они плавают свободно. Как только на их страну будет совершено нападение, они тут же выпускают свой смертоносный груз, и нам крышка, понятно?

— Ну, может быть, не совсем так, — неуверенно возражает Уолдрум, — из глубины океана за тысячи километров, наверное, нелегко извести в цель, часть ракет пройдет мимо цели, но какая-то часть причинит известный вред.

— К сожалению, ни одна ракета не пройдет мимо цели! — отрезает Кэрнсфильд, вставая с места и прохаживаясь по тесному помещению, — дело в том, что ракеты сами знают свою цель, они сами находят ту точку на земном шаре, для уничтожения которой их построили еще на заводе. Так что подводная лодка, в этом смысле, является лишь чем-то вроде ракетовоза, что ли, а ее командир — исполнителем воли того, кто нажимает кнопку управления, находясь на большом расстоянии от самой лодки.

— Что за дьявольщина, неужели это все так? — чувствуется, что Уолдрум взволнован. — Мистер Вудстоун, это правда?

— Неужели вы и в самом деле не знали этого раньше? И не интересовались? — Гарри Вудстоун снимает пенсне и всматривается в лицо корреспондента, словно видит его первый раз.

— Интересовался, но... мне не говорили ничего подобного.

В салон влетает, легко отворив массивную дверь, лейтенант, докладывает командиру о прохождении последнего рубежа.

— Держать глубину 80 метров! Курс на входные фарватеры в акватории Сабтаун! — приказывает командир.

— Хочу посмотреть, как лодка ляжет на входные фарватеры, — Уолдрум исчезает вслед за лейтенантом.

Вудстоун, сложив руки на груди, некоторое время неопределенно смотрит на прохаживающегося Кэрнсфильда, а затем, как бы между прочим, начинает:

— По-моему, вы напрасно так много рассказываете этому флюгеру. Чем меньше знают эти писаки, тем лучше, за их благонадежность не может ругаться ни ангел, ни черт.

— Так он же едет сотрудничать с нами? — возражает командир лодки.

— Хе-хе, — смеется Вудстоун. — Давно известно, что любой корреспондент сотрудничает скорее с врагом, с чертом, с дьяволом, чем...

Звонит телефон, Кэрнсфильд берет трубку.

— Есть! Иду! — коротко отвечает он и тут же поясняет Вудстоуну: — Легли на вход, запросили открыть входные ворота в акваторию Сабтаун. Через час будем входить.

— А сколько входных ворот имеет акватория вообще? — спрашивает Вудстоун.

— Одни южные входные и северные запасные. Запасные полностью засекречены и могут быть использованы лишь в крайних случаях.

— Полностью засекречены? А вы-то знаете, где они?

— Как вам сказать... так, примерно... — Кэрнсфильд уходит.

— «Так, примерно»... — протягивает Вудстоун, когда дверь за командиром лодки закрывается. — Нет, брат, ты знаешь все!

В боевой рубке довольно тесно. Трудно подумать, что это и есть главный командный пункт огромной, водоизмещением в 9.500 тонн атомной подводной лодки. Все стены и даже подволок облеплены хитроумными приборами управления корабля. В носовой части рубки за приборами телесвязи сидит командир, заменивший вахтенного офицера, который в сложных условиях самостоятельно не может управлять лодкой.

Кэрнсфильд, уточняя курс корабля, почти беспрерывно подает команды рулевым, на машинный телеграф, запрашивает у наблюдателей об обстановке вокруг атомного гиганта, осторожно вползающего в ворота.

— Открыты входные ворота! — докладывает носовой наблюдатель, и сам командир уже видит на своей аппаратуре «свободный путь».

— Мистер кэптин! Навстречу из Сабтауна «блоха»! Идет полным ходом! — истерично докладывает все тот же носовой сигнальщик. — Прямо на нас!..

И действительно, на телеэкране ясно обозначается силуэт сверхмалой подводной лодки, в обиходе именуемой «блохой». Она идет прямо на атомную лодку, будто намеревается ее таранить, но под самым ее носом резко сворачивает влево, и обе лодки расходятся правыми бортами. Что за диво? Как могло командование базы выпустить навстречу входящей атомной подводной лодке «блоху»?..

Закрылись входные ворота, теперь надо было стопорить ход и всплывать. Всплывать из глубины 80 метров в относительно стесненной местности не просто. В суматохе Кэрнсфильд совершенно забыл о встрече с «блохой».

Подводная лодка выскочила на поверхность моря, когда Сабтаун только просыпался, но на пирсах было довольнолюдно. Возвращение с моря из успешного испытательного похода новинки атомной техники — событие. И поглазеть на красавицу пришли все, кто знал о времени ее возвращения.

После шестимесячного пребывания в море любой берег моряку кажется раем, а уж если в порту его ждет любимая жена!.. Кэрнсфильд не верил в реальность своего счастья, обнимая и целуя Кэтрин, и, конечно, не сразу заметил ее настороженность.

С буйным восторгом встретила отца и Арабелла, немало удивленная тем, что ее папа явился в Сабтаун на атомной подводной лодке. Его ждали совсем не с моря, а из «центра» обычным путем — на транспортной подводной лодке.

Вудстоуну был отведен в гостинице комфортабельный номер на четвертом этаже. Провожали его Самюэль Коорисмэн и Арабелла.

— Да, Сабтаун превосходит то, что я воображал, — заключает Вудстоун свой обзор. — А это что? Изображение восхода солнца? — он указывает на восток, где, словно отдаленное пожарище, за горизонтом обозначились яркие лучи, бьющие в небо и освещающие Сабтаун.

— Да, папа, там скоро выйдет искусственное солнце, — подтверждает Арабелла, — оно совсем как настоящее, восходит и заходит в точном соответствии с настоящим.

— Хорошо, мы не за тем приплыли сюда, чтобы любоваться красотами, — меняет тон Вудстоун, и его лицо принимает суровое выражение, — я вам сообщил, что по нашим сведениям в Сабтаун проник вражеский шпион. Что вы сделали, чтобы разоблачить его? Доложите пока коротко, в двух словах!

Коорисмэн, без тени сомнения в правоте своих слов, начинает:

— Мне удалось разоблачить этого человека...

— Вы подозреваете Кэрнсфильда и его жену? — перебивает Вудстоун.

— Да, — уверенно отрезает Самюэль, — слишком много улик для этого. Во-первых, Кэтрин почувствовала, что интересуются ее и мужа прошлым, стала так бояться всего и вся, что вряд ли спит спокойно ночи...

— Она очень обеспокоена, даже перепугана, — подтверждает Арабелла, — я просто не смогла с ней поговорить, выяснить у нее то, что поручили вы, папа...

— Хорошо, а вещественных доказательств у вас нет? Имейте в виду — у нас мало времени, надо спешить на завтрак, говорите самое важное, остальное потом.

— Есть и вещественные доказательства, — самодовольно заявляет Самюэль. — Два дня назад недалеко от гавани во время работ наши водолазы обнаружили на дне моря вполне исправную сверхмалую подводную лодку, но проникнуть в нее не смогли: все люки заперты особыми замками. Бесспорно, эта лодка служила шпиону для передачи секретных сведений хозяевам, которые, очевидно, в определенное время в условную точку в море высылали свои подводные лодки и через них переполучали секретные данные, добытые их разведчиком.

— Что же вы сделали с этой проклятой лодкой? Как же она могла войти сюда, в акваторию Сабтауна? Кто в ней мог плавать, если она закрыта?

Самюэль, пожав плечами и помолчав немного, отвечает:

— Плавать в ней может только специалист своего дела, такой как Кэрнсфильд. Проскочить этой «блошке» через входные ворота Сабтауна нетрудно навстречу входящей атомной лодке или вслед за выходящей... Кстати, когда наши подводные лодки уходят в море, среди провожающих редко встречается Кэрнсфильд. Его не бывает и среди встречающих, когда лодки возвращаются на базу...

— Хорошо, а где сейчас эта найденная лодка? — перебивает Вудстоун.

— Мы ее перетащили на новое место, — с жаром объясняет Самюэль, шпион не найдет ее. За ним мы постараемся проследить и, когда он начнет искать свою «блоху», схватим его на месте преступления.

— М-да, дела... Ну хорошо, я приведу себя в порядок и пойдем за ней! — спохватывается Вудстоун.

За столом у командира базы сразу устанавливается непринужденная обстановка. Сам хозяин весел и любезен. Шутки и анекдоты то и дело вызывают общий смех. Только Кэтрин молчаливее обычного.

— Миссис Кэтрин что-то печальна сегодня! С чего бы это? — вдруг объявляет Самюэль и, будто сказав что-то остроумное, заливается смехом.

— Нет, я ничуть не печальна, но некоторые сверхвоспитанные джентльмены нам, дамам, и рта не дают раскрыть, — с улыбкой парирует Кэтрин. Самюэль тут же замолкает.

— Кстати, — продолжает Кэтрин, — где ваш дружок Арч Лорд? В последнее время я вас не видела врозь. Он очень учтивый и воспитанный мальчик.

— О, Арч Лорд вам всегда нравился, миссис Кэтрин, — с ехидной усмешкой отвечает Коорисмэн, — но сегодня его не разбудишь, он слишком долго гулял в прошлую ночь.

— А мне кажется, что вас разлучает иная причина, мистер Морковка, — игриво возражает Кэтрин, — не поссорились ли вы...

— Ладно, будет вам пикироваться! — вмешивается Кэрнсфильд.

— Послушали бы лучше, как нашим морякам плавалось в океане, — вставляет командир базы. — Правда, они не очень разговорчивы.

— Я не специалист в морском деле, и поэтому простите, если скажу что-нибудь слишком глупое, — начинает Уолдрум. — Вот когда мы входили сегодня сюда, в акваторию Сабтаун, навстречу нам выскочила «блоха» — сверхмалая подводная лодка. Я ее видел на телеэкране. А имеет ли эта «блоха» средства связи, чтобы попросить своевременно открыть для нее ворота? Ведь она, наверное, не может долго находиться в море? Мы вот сидим здесь, пируем, а там, в море, может произойти трагедия...

Все замерли.

— Никакой малой подводной лодки в Сабтауне не было, — первым нарушает молчание коммодор Луантвин, — вы что-то не так поняли, мистер корреспондент. Из базы никто не выходил, иначе индикаторные посты...

— Нет, коммодор Луантвин, вы неправы! — подхватывает Кэрнсфильд. — Навстречу нашей лодке, едва не столкнувшись с ней, из базы действительно вышла «блоха». Мы все четко видели ее на телеэкране. Кроме того, бортовые сигнальные индикаторы ее также зафиксировали.

Вудстоун сверлит глазами вдруг побелевшего Коорисмэна. Все молчат.

— Друзья, очевидно, произошло слишком неприятное для всех нас происшествие. Я бы помолился богу, чтобы оказаться неправым. — Вудстоун встает, стараясь сохранить самообладание, и, не прощаясь ни с кем, направляется к выходу. У двери он оборачивается и решительным тоном говорит сопровождающему коммодору Луантвину:

— Прошу вас, как можно быстрее установить, кто из офицеров и, может быть, рядовых моряков отсутствует на базе. Всякое движение кораблей запретить. Я буду у себя в гостинице.

Вудстоун, Коорисмэн и Арабелла направляются к гостинице, но Вудстоун вдруг останавливается и спрашивает своих спутников:

— Кто-нибудь знал о моем прибытии сюда, в Сабтаун?

Первым открывает рот Самюэль. Он решительно отрицает это. Он даже Арабелле ничего не сказал об этом.

— Я созналась миссис Кэтрин, я же остановилась у нее, — робко говорит девушка. — А другу Самюэля Арчу Лорду рассказала, что мой отец скоро будет в Сабтауне...

— Кто такой этот ваш друг? Где он?

— Арч Лорд — старший офицер штаба, — уверенно докладывает Коорисмэн. — Он, очевидно, проспал. Он живет рядом со мной, и я знаю, что вчера он очень поздно вернулся...

— Где он спит? Ведите меня к нему! — приказывает Вудстоун.

Меньше чем через четверть часа они были на месте. Вудстоун резким движением распахивает дверь и влетает в пустую комнату. Где же жилец? Судя по негронутой постели, он вовсе и не ложился спать. Преодолев секундное оцепенение, Вудстоун подходит к кровати, отодвигает ее, рассматривает под ней пол, затем оставшую мебель, одежду, потолок и останавливает внимание на едва приметном круглом следе на стене.

— Кто живет за этой стеной? — голос Вудстоуна в тишине звучит особенно звонко.



— За этой стеной моя комната, мистер Вудстоун!
 Вудстоуна будто обухом ударили по голове. Он смотрит на своего подчиненного злыми и в то же время беспомощными глазами, полными презрения и ненависти.

— Болван! — наконец приходит в себя Вудстоун. — Вы всегда были безнадёжным болваном.

— Что? Что случилось?

— Как что случилось! Вы видите этот круг или вы ослепли?

Коорисмэн недоуменно смотрит на серый круглый след в стене.

— Это след от слухового аппарата! — задыхается от злости Вудстоун.

— Арч Лорд — разведчик? Этого не может быть!

— Мог он узнать, где вы спрятали найденную в море «блоху»? Эту «блоху», я уверен, доставил в Сабтаун именно он и никто другой. Знал это Арч, где вы, болваны, спрятали «блоху»? С кем вы ее прятали? Кто вам помогал?

— Водолаз Леверт, — Самюэль смотрит на часы, — Леверт сейчас должен прийти, он каждое утро докладывает о сохранности «блохи»...

— Где он докладывает, у вас в спальне? — Вудстоун вылетает из комнаты и, толкнув дверь комнаты Коорисмэна, входит туда. За ним — Коорисмэн.

— Да, — беспомощно подтверждает Самюэль, — у меня в спальне...

В дверях вырастает фигура матроса. Приметив незнакомца, он пятится назад и говорит:

— Если разрешите, мистер Коорисмэн, я приду потом!

— Кто такой? — грозно вопрошает Вудстоун.

— А-а-а, Леверт! — восклицает Самюэль. — Докладывай, как наша «блоха»? На месте ли она?

Водолаз несколько секунд мнется и затем, отрицательно мотая головой, выдавливает:

— «Блохи» на месте нет. На ней, вероятно, прокатился кэптин Лорд...

Арч Лорд. Ребята около пяти часов утра видели его на берегу, возле мыса Сандию, где была спрятана «блоха». Вероятно, мистер нашел ключи и решил прокатиться, скоро, вероятно, вернется...

— Покажите его фото! — Вудстоун говорит это на удивление спокойно.

Коорисмэн опростовело кидается к письменному столу и несколько минут роется, прежде чем обнаруживает фотокарточку, на которой сняты Самюэль и Арч, одетые в одинаковые спортивные костюмы.

Вудстоун, надев пенсне, всматривается в не очень четкое изображение двух «спортсменов» на любительской фотокарточке. Вскоре на лице Вудстоуна появляется едкая улыбка, которая все расширяется, расширяется и переходит в саркастический смех. Вслед за начальником смеется и Коорисмэн.

— Чему вы смеетесь? — лицо Вудстоуна вмиг становится злым, наливаясь кровью. — Коорисмэн, вы хотя бы азбуку своего дела усвоили! — продолжает он. — Азбука разведчика: войти в доверие контрразведки, направить ее по ложному пути, а самому спокойно заниматься своим делом. Точно по такой схеме работал, и работает весьма успешно, этот ваш лже-Арч Лорд. Второй раз он ускользает из моих рук...

В дверях появляется коммодор Луантвин.

— Среди личного состава базы, мистер Вудстоун, недостает одного человека — кэптина Арча Лорда, — от дверей же начинает докладывать командир базы. — Его ищут, но пока не нашли...

— И никогда не найдете, мистер Луантвин, — прерывает его начальник контрразведки с видом человека, потерявшего все, чем он располагал, и не имеющего никаких надежд на свое спасение, — это был очень опытный разведчик, он обвел всех нас вокруг пальца и скрылся в океане на своей «блохе». Он унес с собой все секретные данные нашего Сабтауна и его сооружений... Тайны Сабтауна больше нет.

— Не может быть, — командир базы, ошеломленный, опускается на стул, вытирает холодный пот и испуганно таращит глаза на Вудстоуна, — его же прислали из центра старшим офицером...

— Кто прислал и почему прислал — разберемся, мистер Луантвин, — Вудстоун берет себя в руки, — а пока что распорядитесь арестовать командора Самюэля Коорисмэна.

— Арч Лорд... был советский разведчик?.. — Луантвин словно боится своих же собственных слов.

— Нет! Что вы! — безнадежно машет рукой Вудстоун, — Правы коммунисты, черт возьми! Мы и без них перегрызем друг другу глотки!

НАДИДЕ

Продисн Кавжарадзе



Р а с с к а з

Я ехал в Тбилиси на встречу со своими бывшими однокашниками. Такие встречи всегда бывают одновременно радостными и печальными. Приятно увидеть друзей после долгих лет разлуки и, вместе с тем, грустно сознавать, что стареешь.

В купе я был один, и никто не мешал мне предаваться воспоминаниям. Выпускной вечер в институте, первые годы службы, фронт, научная работа... Все промелькнуло перед моим мысленным взором. Удачи, огорчения, надежды... Да, пережито было немало...

На маленькой станции, где поезд стоит всего лишь несколько минут, в наш вагон впрхнула веселая стайка молодежи. Зазвучал смех, шутки... Ребята ехали в Тбилиси на спортивные соревнования.

Мои соседками оказались две высокие стройные девушки. Не обращая на меня внимания — им, двадцатилетним, я в свои шестьдесят, естественно, казался глубоким стариком, — они, высунувшись в окно, долго махали руками провожающим, потом принялись устраиваться на своих полках и угомонились лишь тогда, когда поезд уже набрал скорость и дробный перестук колес, призывающий к покою, подчинил их своей воле.

Одна из девушек забралась на верхнюю полку, другая уселась напротив меня с книгой в руках. Я невольно стал разглядывать ее лицо: чуть удлиненное, с большими лучистыми глазами, над которыми разлетались гибкими стрелками иссиня-черные полоски бровей.

Чем больше я вглядывался в лицо девушки, тем тревожнее становилось на сердце. Девушка определенно кого-то напоминала. Я пытался ухватиться за тоненькую ниточку воспоминаний, но в самый последний момент она ускользала от меня. Почувствовав на себе мой пристальный взгляд, девушка подняла глаза и застенчиво улыбнулась.

— Надиде! — словно стон вырвалось из моей груди.

Девушка удивленно вскинула брови.

— Надиде? Так зовут мою мать. Вы с ней знакомы? — Она опять улыбнулась так, как умела улыбаться только Надиде. — Говорят, мы с мамой очень похожи.

Да, сходство действительно было поразительным!

Я не ответил. Сладкая волна воспоминаний захлестнула меня. Надиде!..

... Мы встретились тридцать пять лет тому назад. Только что окончив медицинский институт, я получил назначение на работу в Аджарию и поселился в небольшой деревеньке, в которой проживало всего лишь несколько семей. Мой хозяин, Хасан Катамадзе, устроил меня в большой комнате с балконом на улицу.

У Хасана было семеро детей. Старший, Осман, привязался ко мне чуть ли не с первого дня. Мальчик буквально не отходил ни на шаг и даже сопровождал меня в дальние поездки к больным. Осман был на редкость любознательным. Когда я занимался, он мог часами молча просиживать рядом, просматривая газеты и журналы, которые я получал из Тбилиси. Иногда же вдруг принимался о чем-нибудь расспрашивать и, случалось, своими вопросами ставил меня в тупик.

Однажды я дал Осману сборник произведений Казбеги, но вечером он принес его обратно.

— Уже прочел? Так скоро? — удивился я.

Осман смутился:

— Я не умею читать.

— Хочешь научу тебя?

Глаза юноши радостно расширились, но ответил он сдержанно:

— Спрошу отца.

— Конечно, спроси.

Я знал, что в мусульманской семье ничего не делается без разрешения отца.

На следующий день Осман прибежал ко мне радостный, и мы начали заниматься. Епервые я выступал в роли учителя и теперь, оглядываясь назад, понимаю, что ни одна работа не принесла мне столько удовлетворения.

Вскоре Осман научился читать. Учебники и детские книжки, которые я выписывал из Тбилиси, уже не удовлетворяли шестнадцатилетнего юношу. Я вновь дал ему Казбеги.

На следующий день Осман по обыкновению зашел ко мне:

— Мы прочли «Элеонору». Сколько плакала Надиде! Она читала книгу, а слезы потоком лились из ее глаз.

— Надиде? Кто это?

— Моя старшая сестра. — Осман смущенно улыбнулся: — Вы учили читать меня, а я свою сестру. Теперь мы вместе учим нашего младшего брата. Мама и отец очень довольны.

Вскоре я сделался любимцем всей семьи Хасана Катамадзе. То маленькая девчушка принесет мне фрукты в корзине, то мальчуган — жареную тыкву или горячие каштаны. Иногда, вернувшись от больного, я находил на своем столе аджарские хачапури — в этом уже чувствовалась заботливая рука взрослого. Но самого Хасана я видел редко, а его жену, Фатиме, если и встречал случайно, молча проходил мимо — мусульманский обычай не позволял ей разговаривать с посторонним мужчиной.

Из моей комнаты было слышно, как за стеной вслух читают книги, которые я давал Осману. До меня доносился то ломающийся юношеский басок, то нежный, журчащий девичий голос. Как мне хотелось хоть раз взглянуть на заочную ученицу! Но я даже не видел цвета ее платья.

Наступила тихая зима. Горы, окружавшие нашу деревню, покрылись снегом. словно невесты, вырядились в белоснежный наряд деревья. Ребятишки Хасана целыми днями катались на санках. Возвращались они веселые, уставшие, промерзшие и приносили с собой столько искрящегося смеха, что и мне хотелось принять участие в их беззаботном веселье!

...Случилось это однажды поздним вечером. Я вернулся домой от больного и даже не успел подняться по ступенькам, как мне навстречу вышел Хасан.

— Здравствуйте, доктор! — Хасан был чем-то взволнован. — Извините, но я должен побеспокоить вас.

— Что случилось, Хасан? — встревожился я и понял вдруг, как стало дорого моему сердцу счастье этой дружной и гостеприимной семьи.

— Моя старшая дочь, Надиде, каталась с детьми на санках, упала и сильно ушибла ногу, — объяснил Хасан.

Большая лежала на кровати, укрывшись по самые глаза одеялом. Увидев меня, она мгновенно натянула одеяло на голову. Я лишь успел заметить огромные лучистые глаза, над которыми тоненькими стрелками разлетались две иссиня-черные полоски бровей

Надиде ни за что не соглашалась показать мне свою больную ногу, но Хасан прикрикнул на дочь, и она сразу покорилась. Фатиме приподняла край одеяла, и я увидел на стройной ноге девушки небольшую ранку, окруженную сине вато-красной опухолью.

— Не сердись на меня, Надиде, не бойся, — ласково уговаривал я девушку, стараясь определить, нет ли перелома. Надиде вскрикнула от боли. — Потерпи, потерпи еще немного.

Наконец я закончил осмотр и облегченно вздохнул:

— Слава богу! Ни перелома, ни вывиха, простое растяжение сухожилий. Придется полежать несколько дней, и все пройдет.

Я промыл ранку спиртом, смазал ее йодом и, наложив компресс, забинтовал.

— Вот и все. Проверим, на всякий случай, нет ли температуры.

Надиде не хотела дать мне свою руку, пока снова не вmeshался Хасан. Когда же я, стараясь нащупать пульс, сжал в своих пальцах тонкое запястье девушки, она вздрогнула и тяжело вздохнула.

Пульс был нормальным, и я собрался уходить, но Хасан не отпустил меня, пригласив к ужину. Стол нам накрыли только на двоих. Мы выпили, и чудесное вино рассеяло во мне то чувство неловкости, которое я постоянно испы-

тывал в присутствии Хасана. Мы разговорились. Услышав, что Хасан собирается на охоту, я не мог скрыть зависти. Он заметил это:

— Вы тоже охотник, доктор? Буду очень рад, если вы пойдете со мной.
Нет ружья? Не беда! Достанем!

Мы вернулись с охоты через два дня. Нас встретил встревоженный Осман.

— Нога у Надиде болит еще сильнее!

Встревожился и Хасан.

— Не приведи, аллах, останется дочка хромой. Прошу вас, доктор, посмотрите мою Надиде еще раз.

Он мог бы и не просить меня об этом. Помощь больной была моей прямой обязанностью, но я не обманывал себя — мне очень хотелось еще раз увидеть лучистые глаза девушки.

Когда мы вошли в комнату, Надиде сидела в постели. Девушка схватилась за одеяло, но я успел увидеть ее лицо — нежное, залитое стыдливым румянцем и такое прекрасное, что я замер у порога. Заметив мое смущение, Надиде улыбнулась и прикрыла лицо густой прядью волос. Никогда раньше не видел я лица прекраснее, улыбки — нежнее, чем та, которая блуждала по лицу Надиде!

Из другой комнаты Фатиме позвала Хасана, и мы с Надиде остались вдвоем.

— Вот, оказывается, какая у меня больная! — сказал я и испугался своей дерзости — одним неловким словом можно было навсегда оттолкнуть от себя эту пугливую лань.

Мои опасения оказались напрасными: Надиде улыбнулась, и мне показалось, что она даже хотела что-то ответить. Но в комнату вернулась Фатиме, и глаза девушки мгновенно потухли.

Я еще раз осмотрел больную ногу Надиде. Хотя боль еще не прошла, опухоль и краснота заметно спали.

— Через несколько дней сможешь встать, — сказал я. В присутствии матери Надиде больше не посмела мне улыбнуться и только очень робко попросила:

— Если можно, какую-нибудь книжку...

— Обязательно пришлю с Османом!

— Спасибо, мы вас так беспокоим...

Оставаться дольше было неудобно. Фатиме ждала моего ухода.

— Выздоровливай, — сказал я Надиде на прощанье. На какое-то мгновение наши взгляды скрестились. Уходя, я уже знал, что у нас с Надиде есть общая тайна.

Я так устал на охоте, что был убежден — лишь коснусь головой подушки, сразу же засну. Но сон бежал от меня. Надиде стояла перед глазами, я видел ее нежное лицо, слышал ее звонкий голос... Надиде... Надиде...

Я стал убеждать себя, что это вечер и мое возбуждение после охоты сыграли роль — потому, мол, девушка показалась мне какой-то особенной, а утром увижу, что она ничем не отличается от своих подруг. Наконец я уснул, но спал беспокойно, то и дело просыпался. Мне снилось бескрайнее снежное поле, слышался лай собак. Вот за мной погнался дикий кабан, огромные клыки почти касаются меня, но Хасан ловким ударом кинжала поражает зверя. Вдруг я увидел себя в университете на экзамене. Я мучился и никак не мог ответить на вопрос профессора. Потом я куда-то долго-долго ехал в поезде.

Меня разбудили на рассвете. В дальнем селении заболела женщина. Наскоро одевшись, я вскочил на коня и тронулся в путь.

Целую неделю провел я возле больной, а когда у нее миновал кризис, мною овладело такое беспокойство, сердце так потянулось к Надиде, что я пренебрег уговорами гостеприимных хозяев и помчался домой.

С душевным трепетом приближался я к дому Хасана. Что ждет меня там? Еще издали увидел на балконе тоненькую девичью фигурку. Неужели Надиде? Я радостно помахал ей рукой. Не ответив мне, фигурка скрылась в доме. Очевидно, подумал я, Надиде встала. А мне так хотелось еще полечить ее! Вот до чего дошел мой эгоизм!

Прошел месяц. Ничего не изменилось за это время. Только теперь мы с Надиде, как будто случайно, встречались по несколько раз в день. Ни она, ни я не произносили ни слова, но глаза красноречивее слов говорили друг другу о наших чувствах.

Это подметила Фатиме, а вскоре и сам Хасан.

Однажды, возвратившись домой поздно вечером, я услышал за стеной грубый голос Хасана:

— Как сказал, так и будет! У меня глаза не закрыты.

— Какое время выдавать ее замуж? — пыталась отговорить мужа Фатиме.

— Если не выдать Надиде замуж, она уйдет с Отия.

В темноте я наткнулся на стул. За стеной разговор перешел на шепот. Я больше не смог разобрать ни одного слова. Но и так все было ясно.

Надиде выдают замуж! Мир сразу опустел. Странное одиночество охватило меня. Комната сделалась тесной, душной. Я больше не мог оставаться в ней и вышел на балкон.

Небо, с самого утра затянутое густой пеленой снежных туч, прояснилось. Ледяным светом мерцали звезды, покрытые белым саваном холмы и горы словно замерли в скорбном молчании.

Не знаю, сколько простоял я там, подавленный горем. Безумное желание увидеть Надиде вернуло меня к действительности.

Совершенно продрогнув, я вернулся в комнату. За стеной, стараясь приглушить рыдания, горько плакала Надиде.

Увидеться мы с ней не могли: Надиде связывал мусульманский обычай, меня — мое положение, иначе я бы просто похитил ее и сделал своей женой.

Ночью у меня поднялась температура. Я бредил, кричал, с кем-то ссорился, звал на помощь.

До самого утра Осман не выходил из моей комнаты — он развел огонь, поил меня водой...

На рассвете я задремал и проснулся только к полудню. Увидев Османа, который, тихою притворив дверь, заглядывал ко мне, я поманил его. Он вошел. Вместе с ним в комнату вошла Надиде.

— Как вы себя чувствуете, учитель? — заботливо спросил юноша.

Я видел перед собой побледневшее лицо Надиде и не в силах был произнести ни слова.

— Пойду принесу дрова, — сказал Осман и вышел из комнаты.

Впервые мы с Надиде остались вдвоем.

— Я все слышал, Надиде, — сказал я, собираясь с силами. — Не отчаивайся. Ведь у Хасана сердце не каменное, он не захочет сделать тебя несчастной. Где он сейчас?

На глазах девушки блеснули слезы, понутив голову, она проговорила еле слышно:

— Отец ушел куда-то, иначе как бы я вошла к тебе.

— Подойди ко мне, Надиде, — попросил я, — положи руку на голову, ах, как она болит!..

Девушка испуганно бросилась к двери, потом вдруг смело подошла к кровати и положила на мой лоб свою тонкую прохладную руку. Как я был счастлив!

Через несколько дней я уже поднялся с постели. Какое это было чудесное время! Хасан уехал куда-то по своим торговым делам, и все в доме сразу почувствовали себя легко и свободно. Вся семья ухаживала за мной, ослабевшим после болезни. Фатиме называла меня сыном и вместе с детьми охотно коротала в моем обществе длинные зимние вечера.

Шло время. Хасан явно избегал встреч со мной. Раньше он заходил ко мне, охотно рассказывал о своих делах, интересовался, какой будет жизнь при Советской власти. Теперь же, сухо поздоровавшись, тут же уходил к себе.

В отсутствие Хасана мы с Надиде часто бывали вместе. Но однажды, когда мы стояли на балконе и разговаривали о «Кристина» Ниношвили, которую прочла Надиде, неожиданно вернулся Хасан.

Увлеченные беседой, мы не сразу заметили, как он подъехал к дому. Хасан сурово глянул на меня и прошел мимо, даже не поздоровавшись.

Я хотел было пойти к Хасану и просить у него руки Надиде, но, вспомнив его суровое и злое лицо, решил выждать: я боялся, что Хасан своим отказом навсегда отнимет у меня Надиде.

Как-то проснувшись очень рано, я спустился во двор. В доме все еще спали. Нежные лучи солнца озаряли природу розоватым светом. Ветерок вплетался в листву деревьев, усыпанных белокрылыми бабочками-цветами. Огромная овчарка подбежала ко мне, встала на задние лапы и, ласкаясь, мордой коснулась моей груди.

Все в этом доме любили меня, все, кроме Хасана.

Неожиданно дверь скрипнула, и на балконе показался сам Хасан. Увидев меня, он поклонился, и я в ответ вежливо склонил голову.

— Вы любите деревню, Отия?

Голос Хасана звучал так спокойно и доброжелательно, что мое измученное сердце затрепетало от радости.

— Люблю, очень.

— А почему бы вам не поселиться у нас навсегда? — Хасан смотрел на меня улыбаясь.

«Хасан понял, как мы с Надиде любим друг друга!» — подумал я, не веря своему счастью.

— С удовольствием, дорогой Хасан, если сочтете меня подходящим седом.

Хасан опять улыбнулся.

— Сейчас я еду по делу, а когда вернусь, сядем и поговорим обо всем.

Я вошел в всю комнату, прилег к кровати и стал думать о словах Хасана. Что они могли означать? Неужели он изменил свое решение и отдает мне в жены Надиде. Все во мне замерло от счастья. Надиде, милая моя Надиде! Нам больше не придется скрываться от посторонних. Все должны знать, как сильно мы любим друг друга. Сколько раз я мечтал взять тебя за руку и взбежать на самую высокую гору, чтобы мир узнал о нашем счастье.

Из сладких грез меня вывел звонкий ребячий гомон.

— Тише! Доктор спит, — послышался голос Надиде.

Я вскопил, выбежал на балкон и лицом к лицу столкнулся с Надиде. Улыбаясь, мы молча глядели друг на друга.

Пышные ветви цветущей сливы тянулись к балкону. Я отломил тоненький побег, густо усыпанный белоснежными цветами, и протянул его Надиде:

— Поздравляю с весной.

Глаза девушки вспыхнули счастьем.

— Спасибо, — она бережно прижала веточку к груди и тихо проговорила: — Я слышала ваш разговор с отцом.

— Ты рада, Надиде?

Она только улыбнулась и застенчиво опустила глаза.

Я с нетерпением поджидал возвращения Хасана. Как-то вечером я сидел во дворе и в задумчивости смотрел на тропинку, убегавшую куда-то высоко-высоко в горы. Солнце клонилось к закату. Вдруг на тропинке показался человек. «Хасан! — Мое сердце взволнованно забилось. — Наконец-то!».

Но это оказался Осман. Увидев меня, он подбежал:

— Здравствуйте, учитель! — лицо юноши сияло от счастья. — Отец устроил меня на рабфак.

Я от души обнял его.

— Поздравляю тебя, Осман! Но рабфак это еще не все — ты должен окончить институт.

— Обязательно! Клянусь, я никогда не забуду вашей заботы. Извините меня, учитель, отец ведет гостей, я должен предупредить об этом маму.

В небе уже ярко сияли звезды, когда меня пригласили к столу, накрытому на балконе. Хасан представил своих братьев Сулеймана и Мамеда. И когда все уселись, поднял бокал и проговорил:

— Разрешите этот тост провозгласить за здоровье нашего доктора. Дорогой Отия, моя семья и все наши сельчане любят вас как родного сына и брата.

Я что-то смущенно пробормотал в ответ, а Хасан продолжал долго и странно расхваливать меня и распинаться в любви.

За первым тостом последовали второй, третий... Я и не почувствовал, как захмелел. На душе было легко, свободно. Хасан затянул удалую аджарскую песню, я стал вторить ему. Улыбнувшись, Хасан положил руку мне на плечо:

— Молодец, Отия! Как хорошо научились вы петь наши песни.

— Ваши песни? — воскликнул я. — Разве все мы — не сыны одной матери-родины?! Разве мы не кровные братья?

Я стал вспоминать наше горькое прошлое, когда турки, завоевавшие Аджарию, насильно обращали грузин в мусульманскую веру.

— Все мы — грузины, и религия не должна разъединять нас! — горячо закончил я.

— Правильно говорите, доктор! — поддержал меня Хасан, высоко подняв свой бокал. — Да здравствует братство! Люблю тебя, Отия, как брата, и хочу, чтобы мы сегодня с тобой побратались.

— Разве я откажусь от братства с тобой?! — горячо воскликнул я.

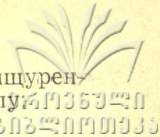
— Тогда побратаемся кровью.

Хасан выхватил из ножен кинжал и сделал надрез сначала на своем мизинце, а потом и на моем. Мы приложили окровавленные пальцы друг к другу. Мы стали братьями.

Я хотел обнять Хасана и расцеловаться с ним, как вдруг из комнаты раздался страшный крик Надиде. К нам подбежал Осман:

— Быстрее, доктор! Надиде плохо!

Обморок был глубоким, и сознание долго не возвращалось к Надиде. Наконец она открыла глаза, медленно оглядела присутствующих, остановила на мне помутневший взгляд и с трудом проговорила:



— Уходи... Уходи... изменник...

Я ошелся. Изменник?

Но Хасан не дал мне возможности поговорить с Надиде. Пряча в прищурен-

ных глазах хитроватую усмешку, он обнял меня за плечи и повел к столу

— Глупая девчонка испортила нам ужин.

Не знаю почему, но я покорно пошел за Хасаном. Однако тревога не покидала меня.

«Изменник?.. Чем же я провинился перед Надиде?» — думал я.

Не чувствуя за собой вины, я решил — девушка обиделась, что я не поговорил с отцом о нашей свадьбе. Не мог же я заводить разговор об этом при посторонних? Завтра, когда Хасан будет один, обязательно поговорю с ним обо всем. Ведь теперь мы с ним братья. Что?.. Братья?!.. Словно стрела пронзила мое сердце — я и Хасан кровные братья!! Как же он может отдать дочь в жены своему брату?

Я смотрел в прищуренные глаза Хасана, и, хотя он молчал, мне явственно слышался его смех.

Не находя в себе больше сил, я вскочил из-за стола, бросился в свою комнату и стал лихорадочно швырять в чемодан вещи. Обманули! Провели, как мальчишку! Навсегда отняли у меня Надиде.

На рассвете ко мне прибежал Осман:

— Надиде пропала, доктор! Отец не может ее найти...

Я перешел на работу в другой район. О Надиде больше никогда ничего не слышал...

Поезд резко затормозил на остановке, громко лязгнула автосцепка. Очнувшись от воспоминаний, я увидел устремленный на меня удивленный взгляд пассажирки и проговорил:

— Да, вы поразительно похожи на свою мать. Когда-то, много лет тому назад, я лечил ее. Где она сейчас?

— Работает в колхозе. — Девушка застенчиво улыбнулась, так, как умела улыбаться только Надиде, и несмело спросила:

— Значит, вы — врач?! Простите, а как ваша фамилия?

— Баракадзе, Отия Баракадзе.

— Моего брата тоже зовут Отия. И он тоже врач. — Она назвала фамилию брата.

— Вот как? — удивился я. — А ведь мы с ним встречались. Кто бы мог подумать, что он сын Надиде! Совсем не похож на нее.

Я закурил папиросу и, чтобы скрыть волнение, вышел из купе.

Перевод Майи НЕМИРОВОЙ



Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ

ЗВЕЗДОЧЕТЫ НАШИХ ДНЕЙ

При всем своем диком своеволии природа Месхет-Джавахетии остается изощренной мастерницей гармонии красок и звуков. Она зажала в теснины дорожку на Канобили, замутила студеные воды горных родников.

Вокруг зубчатых вершин гор вихрятся облака, белые и легкие. Дорога поднимается все выше, вьется по краю головокружжительной пропасти.

...Веками стояла необитаемой высокая, поросшая густым сосновым бором гора Канобили. В конце прошлого века ее «штурмовал» замечательный русский астроном С. П. Глазенап. Кто сосчитает, сколько ночей посвятил он исследованию неба над этой горой. И установил: здесь наиболее благоприятное место для точнейших астрономических и астрофизических наблюдений. Убедить царских чиновников в том, что на Канобили надо построить обсерваторию, ему не удалось. Обсерваторию основали уже в наше время, подняв в «башню Глазенапа» первый отечественный телескоп.

Сейчас на Канобили целый астрономический городок.

Здесь, в сугубо земных условиях, решают проблемы, далекие от Земли. Воздух над обсерваторией чист и прозрачен. В нем, как на японской гравюре, четко и прихотливо вырисовываются белые здания с серебристыми сферическими куполами, присыпанные снегом пригорки, аллеи...

Как по расписанию, зажигаются звезды. До утра надо успеть проследить за ними, а потом проститься до вечера, когда они вновь взойдут на потемневшем небе. На Канобили работа кипит и ночью, и днем. Вычисляются орбиты звезд, изучается солнечный свет, строение верхних слоев земной атмосферы, сущность происходящих явлений, их связь с солнечной активностью.

...Научные сотрудники Абастуманской астрофизической обсерватории Академии наук Грузии ведут интереснейшие наблюдения по изучению небесных тел, открывают свет новых, молодых звезд. Одну такую звезду открыла в созвездии Змеи ученая Рамзе Бартая, ныне — член Комиссии звездных спектров Международного астрономического союза. Три других звезды в созвездии Щита, Стрельца и Змееносца открыл астроном Степан Априамашвили, обнаруживший, помимо этого, 18 планетных туманностей, то есть звезд, которые пока еще только образуются.

Ученые всех времен пытались разгадать тайну космоса. Мыслитель древности Пифагор уверял, что небесные сферы звучат в своем движении. И что же? Современные радиоастрономы уловили «музыку» Вселенной, оказавшуюся, правда, не столь мелодичной, как думал Пифагор. Древние греки сложили дивный миф об Икаре, летавшем к Солнцу на крыльях, изготовленных его отцом — Де-

далом. Прошли десятки веков — и в наши дни небо бороздят искусственные «спутники, космические корабли, автоматические и пилотируемые станции.

Поистине обитаемым стало небо!

На Марсе и Венере работали автоматические станции, люди летали на Луну, среди кратеров и у горных цепей путешествовали луноходы, на околоземных орбитах космонавты вели исследования с борта пилотируемых станций «Салют» и «Скайлэб»... Без астрономов всего этого попросту не существовало бы.

Комета Когоутека, приблизившаяся к Земле в январе, была для обитателей Канобили большим событием, привлечшим усиленное внимание астрофизиков.

— Хвостатые пришельцы из космоса давно волнуют ученых, — рассказывает заместитель директора обсерватории Виктор Михайлович Джапнашвили. — На рубеже нового года, когда комета Когоутека светилась с максимальной яркостью, мы провели ее фотографирование.

Не так уж много людей видело подобные небесные явления. Съемка движения кометы Когоутека и кинограмма позволили зафиксировать наиболее интересные изменения в комете на фоне звезд. Это явление фиксировали астрономы многих стран, и можно ожидать, что портрет космического пришельца будет тщательно разработан.

На Канобили мы наблюдали великолепное, правда, земное зрелище. Закрылось сияние, такое ослепительное, что мы невольно зажмурились. А когда открыли глаза, там, внизу, краски уже перемешались: трава была синей, ветви — ярко-желтыми, выпуклыми, словно под увеличительным стеклом, камни — зелеными и еще какого-то смешанного, на глазах меняющегося цвета.

Это была радуга... Сполохи ее нежно переливаются, то чуть задерживаясь, то вдруг стремительно мчатся куда-то далеко-далеко. Вот высоко над головой появляется небольшое светлое пятнышко. Проходит несколько секунд, и оно становится таким ярким, что светлеет все вокруг. Неожиданно загораются разноцветные дуги, быстро сменяющие друг друга. Трудно даже уследить за этой мастерской игрой дрожащих лучей.

Должно быть, эта красота, пленительная, властно берущая за душу, открылась на Канобили и С. П. Глазенапу, и тем молодым астрономам, которые подняли сюда первый телескоп. Они штурмовали вершину. Вбивали крючья в неподатливый камень, подтягиваясь на веревках, взбирались на отвесные скалы, повисали над пропастью, над белыми полями облаков... Из последних сил, изнемогая от усталости, карабкались к синим вершинам — вверх, к небу. Вдаль убегали зубчатые отроги, скалы и россыпи ручьев, седые камни разрушенных башен... С тяжелыми рюкзаками за спиной они долго блуждали по лугам и перелескам. Краснел закат, и птицы смолкали так внезапно, будто за ними закрывались двери...

О, системы небесной механики!

«Шеф» Канобили академик Евгений Кириллович Харадзе рассказывает так, что его слушаешь как зачарованный.

— Знание органически связано с человеческим воображением, — сказал Евгений Кириллович. — Этот, на первый взгляд, парадоксальный закон можно выразить так: сила воображения увеличивается по мере роста познания.

Примеров этому он приводит множество.

Когда-то в томике стихов Евгения Винокурова мне встретились и врезались в память слова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться...».

Эти строки пришли мне в голову во время беседы с Евгением Кирилловичем, бессменным руководителем обсерватории.

Есть вещи зримые и незримые, качества почти осязаемые и неуловимые — вместе они составляют неповторимую сущность человека.

Я рассказываю ему свои впечатления... У Харадзе всегда невозмутимое лицо, и его настроение можно угадать лишь по выражению глаз, увеличенных стеклами очков. Сейчас в них угадывается усмешка. Всегда элегантный, несколько сухой, сдержанный; но вдруг он уловил в собеседнике момент понимания, и за секунду до того бесстрастные глаза прищурены, добрая усмешка зажигается в них, сухость уже нарушена, и вот протянулись нити взаимопонимания.

— Многопрофильность позволяет грузинским астрономам, — говорит он, — работать над самыми разнообразными проблемами. Здесь и карты поверхности Луны, и обработка материала, полученного при наблюдении полного солнечного затмения 1972 года экспедицией обсерватории на Чукотке, и исследование переменных звезд и строения Галактики в районе Млечного Пути...

Я узнаю, что успешной научной деятельности астрономов нашей республики способствуют тесные контакты с другими исследовательскими центрами.

Объекты за пределами нашего звездного мира — галактики — изучаются совместно с Бюро аналитической астрофизической обсерваторией АН Армянской ССР. Большую работу осуществляем в кооперации с Главной астрономической обсерваторией АН Украинской ССР. Целый ряд астрономических центров и стран помогает нам в подготовке кадров. В свою очередь и в Абастуманской обсерватории постоянно находятся на стажировке аспиранты и научные сотрудники из других братских республик.

Е. Харадзе — превосходный учитель, удивительно наблюдательный и пронзительный. Он умеет найти в людях то «самое главное», без чего не добиться успеха в науке. Он видит не только то, что у молодого ученого лучше всего получается, но и то, что у него должно получиться. Евгений Кириллович всегда помогал молодым скорее обрести себя в творчестве, найти свой собственный путь в науке. И никогда не навязывал своих решений и мыслей. Его ученики, среди которых много докторов наук и кандидатов, говорят, что Харадзе воспитывает ученых, а не научных работников. А между тем и другим, как известно, большая разница. Выше всего Харадзе ценит главное качество будущего ученого, которое он определяет как **порядочность**: «Ни при каких обстоятельствах не ловчить или кривить душой, или искать выгоды. Ни при каких». Науке это противопоказано.

В группе геофизиков несколько его недавних студентов. Это кандидаты физико-математических наук Натела Марцваладзе и Теймураз Торшелидзе, аспирант Юрий Матешвили и другие. У каждого своя судьба, каждого привела на вершину астрономической горы своя дорога, и каждый упрямо прокладывает путь к своей высоте.

Юрий Матешвили. Несколько медлительный, постоянно углубленный в свои мысли. Первая гора, с которой познакомился, — Мтацминда. Первый телескоп пытался собрать еще в школе, по брошюре, изданной в двадцатые годы. Эксперимент не удался — дома не оказалось подходящих очков, а с линзами в то время в аптеках было трудно.

Но это не было стремлением к астрономии — просто жажда познания, которая неистребима в каждом, кто идет в науку. Юрий шел к ней все время. С детства окружали его книги. Книжные полки поднимались до потолка. Старинные фолианты «Вселенная и человечество», Брем, всевозможные энциклопедии... Дед — крупный ученый-ихтиолог, мать — геолог. Геологом был и отец, не вернувшийся с войны...

После школы — физический факультет университета.

Первые годы были трудными. Юрий искал себя. Это гораздо труднее, чем учиться. Можно сдавать на пятерки экзамены, можно стать гордостью курса, но так и не найти своей дороги. Только к четвертому курсу он нашел: геофизика — вот это главное. Помог Евгений Кириллович Харадзе. А потом — Канобили и работа, которая увлекла навсегда. Неосознанная мечта детства — увидеть свет далекой звезды — стала явью.

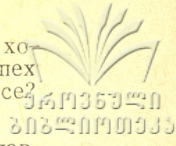
Теймураз Торшелидзе. Собранный, готовый в любую минуту прийти на помощь товарищу. Мастерски делает расчеты. Феноменальная память. О звездах говорит, как о любимой книге, герои которой остаются в сердце на всю жизнь.

— Далекі они от нас, — говорит он. — Но, знаете ли, есть в них что-то земное, близкое. Иногда даже кажется, что звезды пахнут. Пахнут степью, травами, хлебом. Кто-то из поэтов писал: «Звездный мертвенный свет...». Это неправда. Звездный свет тоже свет жизни, только таинственный... Он располагает к мечте, зовет к познанию тайны. До нас доходит не только их свет. В пору звездопада звезды падают на Землю, умирают на ней. Совсем как люди...

Путь, который привел Теймураза на Канобили, тоже пролегал через аудиторию Тбилисского университета. Теймураз увлекся геофизикой сразу. Произошло это потому, что она давалась труднее, чем остальные предметы. Так упорство — качество, необходимое ученому, — родило призвание, которое наполнило жизнь.

Натела Марцваладзе. Звездная «болезнь» давно одолела ее. Поднявшись в башню, Натела забывает о времени. Она тоже никак не может согласиться с тем, что звезды всегда одинаковы. Нет, каждый раз они выглядят по-новому. Порой они бьют одинаково, порой — улыбочивыми. Порой их лихорадит, как и людей. Глядя на них, ощущаешь дыхание далекого времени, слышишь голоса ушедших столетий и еще острее воспринимаешь жизнь, нашу эпоху.

— Полею твоей деятельности, — говорит Натела, — может быть и огромное небо, и кусочек земли. Неважно, какое оно, это поле, важно другое — чувствовать себя его хозяином. Дело формирует личность, рождает чувство ответственности, состояние активности. Без этого нет человека.



Они, эти люди, ходят в свои башни и лаборатории даже не так, как на хо-рошую, любимую работу: для них обсерватория — община, братство, где успех каждого зависит от успеха всех и наоборот. Впрочем, если иначе, то зачем все?

В здании обсерватории — особая, своеобразная жизнь. Многим, попав-шим сюда на день-два, странно и непонятно, как люди коротают дни и ночи вдалеке от шума и суеты большого города, будто отрешившись от всего мира. Но я уже понял, что обитатели этих стен больше всего в мире любят свою «цита-дель» науки и ни на что не променяют узкие, похожие на каюты, комнаты, за-ставленные громоздкими приборами и до потолка заваленные книгами. Отсюда, с высоты тысячи семьсот метров над уровнем моря они неусыпно ведут наблю-дения за тайнописью звездного ковра глубоких небес, прослеживают пути еще неведомых светил, в далекие города сообщают о надвигающихся бурях, цикло-нах, о странных и неожиданных капризах природы. Летчики и капитаны, ве-дущие в дальние рейсы свои самолеты и корабли, садоводы и виноградари, аг-рономы и пахари и не подозревают, что частицей своих успехов и удач они обя-заны ночному дозору астрономов.

...Высота дает о себе знать. Глотнув настоенного на снегах и горных тра-вах ветра, чувствуешь себя помолодевшим. И можно, встав на вершину, глядеть сразу по обе стороны Аджаро-Имеретинского хребта.

Вереницы заснеженных — вершин кажутся бесконечными. Орлы беспешно взлетают вывсь из расщелин скал. Вот следы лавин на горах. Зимой снег, не удержавшись на крутых склонах, срывается и устремляется вниз, хороня под сугробами дорогу.

Нет, здесь вовсе не безлюдно. Трактор ползет по склону, расчищая пово-рот... Дым костра у реки... Столбы высоковольтки бегут, словно перескакивая со скалы на скалу...

С утра я брожу по окрестностям обсерватории. К ее зданиям вплотную под-ступает лес.

- Представляю себе, какие потоки несутся здесь весной!
- Да... А посмотрите-ка выше.
- Чудесное небо!
- Еще выше!

И вдруг я увидел: высоко над облаками — ярко-золотистый купол. Я оне-мел. Со мной что-то произошло, я чувствовал, что встреча с этой необыкновен-ной красотой навсегда изменила меня. На свете не может быть ничего пре-краснее!..

Горы возвышались совсем рядом. Облачные венчики обрамляли сверкаю-щие ледяные макушки. Солнце превратило ледники в золото!

Зрелище этой немислимой красоты было благотворно, мою душу объят покой, умиротворение, какого я никогда не испытывал. Все прочее вдруг стало второстепенным. Жизнь словно обрела новый смысл. И я подумал: как же при-рода формирует личность тех, кто ее изучает!

А ведь все вокруг, казалось бы, знакомо, обычно, неизменно: трава — зе-леная, небо — синее, ручей — прозрачный...

В тот день на горе Канобили мне показалось — я понял, ощутил, я обрел гармонию!

... С утра группы работников расходятся по башням и лабораториям. Одни ведут наблюдения на открытом воздухе, другие заняты измерениями и вычисле-ниями в помещениях. В аудитории одного из зданий проводятся научные семи-нары или занятия иностранными языками с аспирантами и начинающими на-учными работниками. Студенты проходят учебно-производственную практику. Звонят детские голоса — это экскурсии школьников из окрестных и дальних сел.

А как только спускаются сумерки, открываются створки куполов. Если небо покрыто облаками, назначаются дежурные наблюдатели за небом.

Луну и звезды часто и много фотографируют научные сотрудники обсерва-тории. Потом негативы аккуратно раскладывают по разделам, и каждый из них — помощник в работе. Слово учебники, помогают открывать они тайны неба. Многие снимки сделаны ассистентом кафедры астрономии Яковом Чхи-квадзе с помощью менискового телескопа, на фотопластинке которого оставля-ют свои автографы космические гости.

— Звездочеты — народ упрямый. Трудностями нас не испугаешь, — гово-рит Тенгиз Борчхадзе, изучающий вопросы светимости на поверхностях га-лактик.

Словно заправские лодманы, ориентируются они в лабиринтах звездных ат-ласов и карт.

Непосвященному эти слова мало что говорят, но я... я заглянул в телескоп.

Что может быть величественнее зрелища ночного неба, не задернутого покровом облаков! Как передать волнующую атмосферу «космической вахты» астрономов, бодрствующих у телескопов! Их голоса... Голоса людей, их интонации, редкие фразы, сказанные между собой, — как передают они атмосферу ночной лаборатории, бессонной ночи, ночи первооткрывателей, для которых открытие — это не нежданно подвалившее счастье, а плод непрерывного движения мысли, глубоких знаний, дело всей их жизни.

... Вспышки сверхновой — это речь идет о звезде. Единица с двадцатью пятью нулями — во столько крат энергия этой вспышки превышает энергию водородной бомбы! Разделяют нас и эти самые сверхновые миллиарды световых лет.

А зафиксированные недавно гигантские взрывы на Солнце? По своей мощности они равны взрыву 10.000.000.000 атомных бомб.

Тот, кто имеет представление о труде астрономов, знает, что как бы ни были радостны открытия, какие бы надежды они ни пробуждали, ни один специалист до поры до времени не решится произнести ко многому обязывающее слово: «открытие!» А состояние, которое испытываешь при этом, похоже на вспышку сигнальной лампочки на контрольном табло: «Внимание!».

В «стеклянной библиотеке» Абастуманской астрофизической обсерватории хранятся тысячи уникальных пластинок с автографами космических гостей.

Кончается день, и голубое небо над Канобили, выжженное багровым пламенем заката, становится угольно-черным. Прорезываясь сквозь эту грифельную темноту, ложатся на него отблески огней из иллюминаторов обсерватории.

Астрономическая мысль была хорошо развита уже в древней Грузии. Об этом свидетельствуют богатые фонды рукописей, относящихся к IX веку, которые хранятся в Тбилиси в Государственном музее Грузии. В литературных памятниках X и более поздних столетий мы встречаем богатую астрономическую терминологию.

По утверждению Броссе, «грузинам уже в 1233 г. была известна добрая половина тех неточностей старой календарной системы, которые в 1582 г. вынудили папу Григория XIII к исправлению календаря».

Уместно вспомнить два примечательных факта. Во-первых, в XIII веке в Тбилиси существовала астрономическая обсерватория, где работали настолько квалифицированные астрономы, что многих из них приглашали в обсерватории других стран. Во-вторых, в том же столетии был известен результат точного для того времени определения географической широты Тбилиси — работа, которая требовала наличия угломерных и других специальных инструментов...

... По ночам, когда опускались черные, непроглядные покровы темноты, Л. Ксанфомалити, А. Король и В. Лохов поднимались в башню и садились у телескопа. Их взору открывался мир заманчивый и загадочный. Приветливо мерцали звезды, синело небо. Л. Ксанфомалити неторопливым движением руки поворачивал штурвал телескопа. Миры проплывали перед его спокойным и пытливым взором, но он искал... Луну.

Такую знакомую и близкую.

С помощью всех этих наблюдений, поисков в лаборатории астрономической электроники создавались оригинальные приборы — автоматический электронный поляриметр, поляривизор и дискриминатор. Успешное развитие работ в этом направлении завершилось созданием целого комплекса электронных приборов для поляриметрических карт Луны. Заслуга в создании этого комплекса принадлежит кандидату физико-математических наук Л. Ксанфомалити, руководителю лаборатории А. Королу и старшему инженеру В. Лохову.

Беседуя с ними, понимаешь, что получат наука, техника, промышленность, сельское хозяйство от изучения Луны. Причем не в далеком будущем, а сегодня или в крайнем случае — завтра.

— В Абастуманской астрофизической обсерватории в тесном сотрудничестве с Институтом географии имени Вахушти АН Грузинской ССР создают поляриметрический атлас Луны, — рассказывает Виктор Михайлович Джапиашвили. — Руководитель отдела картографии этого института доктор географических наук А. Асланикашвили оказал большую помощь в разработке метода поляриметрического картирования.

04.03.69 420
03.01.1973 33

Большой интерес вызывают и работы профессора Тбилисского университета Н. Магнарадзе в области небесной механики.

А близкие нам сферы Вселенной — верхние слои земной атмосферы и околоземное космическое пространство? Усилиями научных сотрудников обсерватории добыто немало новых сведений о физико-химических свойствах этой части неба, столь важной в связи с развитием космонавтики.

Фредерик Жолио-Кюри писал: «Ученый подобен рабочим или художникам, строившим древние соборы. Они участвовали в строительстве, требовавшем иногда труда многих поколений; от этого не остывала их страсть, любовь к своему творению, завершения которого они не могли увидеть».

Беспредельны и бесконечно далеки просторы галактик, открывающиеся с горы Канобили. А рядом, совсем близко — вечно живые шедевры древнего грузинского зодчества — Вардзиа, Тmogви, Ацкури, Хертвиси...

Сотворенные десницей великих мастеров фрески, орнаментированные резьбой по камню купольные храмы, развалины дворцов, огромный многоярусный пещерный город, высеченный в XII веке в отвесной скале, сложнейшие водопроводные сооружения...

История в образах неповторимо прекрасных и величественных вписалась в современность и уже неотделима от нее.

Пройдете гулками плитами древнего храма, посмотрите фрески Кинцвиси, и вас не может не охватить волнующее чувство, которое испытывает человек, созерцая красоту. Гармония, благородство и лаконизм форм, красок... И еще одно ощущение волнует необыкновенно — прикосновение к вечности.

Здесь, на Канобили, в самом сердце Месхет-Джавахетии, соседство вдохновенных трудов древних зодчих и современных астрофизиков показалось мне символом, исполненным высокого смысла.

Окно во Вселенную — скалистая твердь Канобили — обращена к звездным дорогам астронавтов наших дней.

Потрясенный безмолвием и беспредельностью космоса, еще явственней ощущаешь биение напряженного пульса современности. И невольно приходят на память межзвездные строки:

Тише люди,
Шепчу я, --
Не гремите войной.
Неужели забыли,
Что такое война?
На горе Канобили
Так нужна тишина.

Канобили — Тбилиси.
Февраль 1974 г.



СПЛАВ ЗНАНИЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Трагедия Трои, с одной стороны, и сказочная одиссея древних греков в этой войне, с другой, взволновали сердце и ум Гомера, побудив его создать «Илиаду» и «Одиссею» — замечательные шедевры античного эпоса. Если мысленно проследить за развитием искусства со времен Гомера до наших дней, то действие этого закона можно обнаружить везде. Для каждого подлинного художника характерна как внутренняя, так и внешняя биография, без которых он не может создать истинно художественного произведения. Руставели и Данте, Гёте и Байрон, Бараташвили и Лермонтов, Толстой и Шолохов, Горький и Фадеев так же подчинены действию этого закона, как и Бетховен, «Лунная соната» которого не была бы написана, если бы не произошло то, что с такой трагической силой пережил великий композитор. Фидий, Джотто, Рафаэль, Рембрандт, Боттичелли, Пиросманашвили — у всех у них имеется двойная биография. Закон этот носит всеобщий характер и действует всюду, где налицо — творчество. Если бы это было не так, не появился бы и роман «Человек из Афин».

Почему Георгий Гулиа написал хронику-роман о столь далеком прошлом? Были две причины: внутренняя — увлечение в детстве греческой антикой; внешняя — посещение Атики, совет отца. Обе эти причины сам автор прекрасно охарактеризовал в прологе, обращенном к читателю и равном целому произведению.

В детстве я и мой брат читали Гомера в переводе Жуковского («Одиссею»), говорит автор. А отец знакомил с «музыкой оригинала», декламируя наизусть стихи из «Илиады» и «Одиссеи». Отец этот был Дмитрий Гулиа — выдающийся общественный деятель Абхазии, писатель и ученый. Он внушил своему сыну идею написать рассказ о Перикле, о котором процитировал следующие слова Плутарха: «...Славнейшей заслугой своей он (Перикл. — Г. Д.) считал то, что, занимая такой высокий пост, он никогда не давал воли ни зависти, ни гневу». С таким именем и вошел Перикл в античную историю, и каждый, кто имел возможность еще в юности познакомиться с жизнью этого знаменитого человека, не мог не проникнуться любовью к нему. Именно так случилось и с автором романа «Человек из Афин». В нем зародилась глубочайшая симпатия к Периклу, которая в дальнейшем еще больше усилилась во время его путешествия по выжженной солнцем земле Трои, в ходе посещения островов Лесбос, Лемнос, Корфу, берегов Пелопоннеса. «Я плыл по следам Одиссея, Фемистокла, Перикла, — говорит писатель. — ...Имена Геродота и Страбона, Софокла и Гесиода, Пифагора и Архимеда подолгу не сходили с языка. Колхида и Эллада причудливо соединились в нашем воображении». Это было уже творческое горение, без

которого не может возникнуть ни одно художественное произведение. И вот перед нами, кажется, первое беллетристическое сочинение о Перикле!

Но что описано в этом романе?

По словам автора, он взял последний год жизни Перикла, насыщенный трагическими явлениями, но именно это дает писателю возможность отобразить всю биографию великого афинянина, вспоминая и обзревая прошлое. В течение последних 15 лет Перикл единолично управлял прославившимся в ту эпоху Афинским государством как талантливый и мужественный вождь своего народа. Народа, говорим мы, и автор уточняет: в Древних Афинах понятие народа предполагало только ту часть общества, в которую не входили рабы, женщины, жители других городов античного греческого государства, одним словом, подавляющая часть народа. Однако не следует забывать, что Перикл управлял всеми классами и всеми слоями населения, был обременен заботой о благополучии всего народа, а не только тех, кто вместе с силой был облечен правом отстранить Перикла от всех его официальных должностей. Этот народ отстранил его, но вскоре снова пригласил своего верного сына, чтобы вверить ему бразды правления государством, хотя на этот раз уже ненадолго. Чума косила его, еще полного сил и энергии, в возрасте 61 года (родился в 490, умер в 429 г. до н. э.), но то, что он сделал, навсегда запечатлелось не только в памяти афинян, но и во всей мировой истории.

В романе «Человек из Афин» фабула развивается не прямолинейно; она целиком подчинена контрасту, когда после очерченного боковыми линиями описания прошлого следует повествование о последующем периоде жизни Перикла, а потом снова изложение прошлого. Такое построение сюжета усиливает интерес читателя, несмотря на частые перебои настроения. Как главный герой произведения, действующий в далеком прошлом, отдаленном от нас на 25 веков, Перикл воссоединяет в одно целое разбросанные фрагменты истории (в данном случае романа). Такой прием, используемый автором, составляет внутреннюю логику романа. Этим объясняется тот факт, что хроника из шести книг начинается отстранением Перикла от поста стратега и заканчивается его смертью, последовавшей после последнего избрания. Таким путем достигается цельность сюжетной линии.

Автор испытывает к Периклу — главному герою романа «Человек из Афин» — больше симпатии, чем к Эхнатону, и это вполне понятно.

Осторожный, но бесстрашный и умнейший Перикл вошел в историю как личность мирового масштаба: он посвятил свою жизнь верному служению родному народу и явился парадигмой идеального образа древнего политического руководителя. Плутарх воздает хвалу рождению и воспитанию Перикла. «Агаристе приснилось, что она родила льва, и через несколько дней она родила Перикла», — сенсационно повествует Плутарх. Он же сообщает, что Перикл не имел никаких физических недостатков, кроме одной странности: голова у него была продолговатая и несоразмерно большая. Вот почему, — подчеркивает знаменитый автор «Сравнительных жизнеописаний», — на всех статуях Перикл изображается со шлемом на голове, очевидно, потому, что «скульпторы не хотели представлять его в позорном виде». Отсюда появилось и прозвище «кефалегерет» («собирателъ голов», аллегорически — человек с большой головой) аналогично прозвищу «нефелегерет» («собирателъ туч»), коим Гомер называет Зевса.

У Перикла были известные учителя. Музыке обучал его Дамон (сторонник тирании, за что по закону остракизма был изгнан из демократических Афин). Учителем Перикла был также философ Зенон — ученик Парменида, пользовавшийся большой славой как знаток природы и обладавший силой логики (Зенону принадлежит известное изречение: «быстроногий Ахилл никогда не догонит черепаху»). Но наиболее близким к Периклу учителем считают Анаксагора, которого современники называли «умом». Именно от Анаксагора унаследовал Перикл не только большие познания в исследовании природы, но и многие другие достоинства. Плутарх так характеризует отношения Перикла к Анаксагору: «Питая необыкновенное уважение к этому человеку (к Анаксагору. — Г. Д.), проникаясь его учением о небесных и атмосферических явлениях, Перикл, как говорят, не только усвоил себе высокий образ мыслей и возвышенность речи, свободную от плоского, скверного фиглярства, но и серьезное выражение лица, недоступное смеху. Спокойная походка, скромность в манере носить одежду, не нарушаемый ни при каком аффекте во время речи ровный голос и тому подобные свойства Перикла производили на всех удивительно сильное впечатление» (стр. 191). Высокими личными качествами, правильной ориентацией в управлении го-

¹ Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 1961, т. I, стр. 198. И далее ссылки на Плутарха будут приводиться по этому изданию с указанием страниц.

сударством и самоотверженным служением цели Перикл действительно представляет собой исключительное явление.

Жизнь великих людей часто бывает овеяна легендой; многое, касающееся их личности, создается народной фантазией; и в биографии Перикла тоже многое преувеличено, но это не мешает нам получить полное представление о великом, умном правителе. Поэтому, не было случайным, когда говорили, что, несмотря на свои природные аристократические наклонности, Перикл с самого начала «стал на сторону демократии и бедных, а не на сторону богатых и аристократов» (стр. 200). Так пишет Плутарх, подчеркивая, что Перикл не ходил на обед ни к кому, даже к друзьям, лишь один раз был на свадьбе родственника и ушел после обеда — первой половины свадьбы, а на «симпозионе» — пирушке — не присутствовал.

Историками установлено и то, что в афинском Народном собрании времен Перикла ораторы выступали, не повышая голоса и не делая «резких движений». Противоположное действие считалось непристойностью. Перикл, например, говорил всегда спокойно и держал руку под плащом². Факт, служащий доказательством того, что государственные дела надо решать не с горячим умом, а спокойно, вдумчиво, без спешки, взвешивая все обстоятельства. Перикл так и поступал. Возьмем, к примеру, тогдашнюю судебную практику. Видимо, первый человек Афинского государства принял определенные меры, чтобы укрепить авторитет судов рабовладельческого демократического строя, улучшить их положение, усилить заинтересованность самих судей. Historики сообщают, что до Перикла судьям ничего не давали, а он установил выдачу им по одному оболу (6 копеек) в день, что позднее, около 428 года до н. э., было увеличено в три раза³. Установлено и то, что одна драхма равнялась 40 копейкам, а мина — 40 рублям⁴. Ясно, что таким путем Перикл содействовал улучшению деятельности греческой юриспруденции своего времени, лучше организовал судебную практику. Он ввел также «теорикон» — выдачу неимущим горожанам из государственной казны денег для посещения зрелищ.

Автору хроники надо было изучить все это и еще многое другое, чтобы написать роман о Перикле. Это изучение должно было быть основательным, глубоким, широким. Со знанием только биографических данных об исторической личности при работе над большим художественным полотном далеко не уйдешь. Писатель так детально изучил античную историю, что, к примеру, и в описании батальных сцен проявляет научные познания. Достаточно упомянуть абордаж — прием в морском сражении, часто применявшийся Периклом вместе с другими стратегами. С самых древних времен мы встречаемся с описанием абордажа, и не случайно, что и в поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре» не один раз описано аналогичное сражение⁵.

Но не только полководческий талант, храбрость и ловкость составляли достоинства Перикла. В управлении гражданскими делами ему содействовали ораторское дарование, широкое по тому времени энциклопедическое образование, мастерски используемое им во время публичных выступлений. Плутарх говорит, что Перикл настраивал свою речь, как музыкальный инструмент (стр. 201). Платон свидетельствует: высоту своих мыслей и способность творить нечто совершенное во всех отношениях Перикл извлек из учения Анаксагора и присоединил к своим природным дарованиям, заимствуя от учителя все полезное для ораторского искусства (там же). Благодаря этому Перикл стал самым крупным оратором тогдашних Афин и даже был прозван «олимпийцем». «Он гремел и метал молнии, когда говорил перед народом, и носил страшный перун на языке», — говорит Плутарх. Однажды противник Перикла Фукидид, сын Мелесия, пошутил. Спартанский царь Архидам спросил его — представителя аристократической партии, — кто из них искуснее в борьбе? Фукидид ответил: «Когда я в борьбе повалю его (Перикла. — Г. Д.), то он говорит, что не упал, через это оказывается победителем и убеждает в этом тех, которые это видели» (стр. 201). Что Перикл мастерски пользовался силой речи, это видно из того, с какой ответственностью он относился ко всем своим публичным выступлениям. «Перикл был осторожен в речах и, идя к ораторской трибуне, молил богов, чтобы у него против воли не вырвалось ни одного слова, не подходящего к данному делу» (там же).

Такого правителя, конечно, народ должен был полюбить, облечь доверием, поддержать во всех разумных начинаниях. И действительно, Перикл пользовался

² См. примечания в книге Аристотеля «Афинская политика». 1937, стр. 111.

³ Там же, стр. 110.

⁴ Там же, стр. 122.

⁵ Подробнее см.: Георгий Джибладзе. Эстетический мир Руставели. 1968. стр. 159—162 (на груз. яз.).

ся доверием, строил в родном городе «здания, грандиозные по величине, неподражаемые по красоте». Все эти здания «были завершены в цветущий период деятельности одного государственного мужа». Все мастера соревновались друг с другом, старались работать лучше, чтобы результаты их труда были изысканными, бессмертными. Источником их энтузиазма и вдохновения был Перикл. Плутарх приводит распространенное в то время сказание: когда живописец Агартарх начал хвалиться, что он скоро и легко рисует фигуры живых существ, знаменитый Зевксид сказал: «А я так долго!» (стр. 206). Безусловно, в словах Зевксиды содержится истина, хотя нельзя отвергать и «гения одной ночи». При Перикле были построены знаменитые Афинские «длинные стены», Одеон и сохранившийся в виде руин пантеон с Пропилеями⁶. При Перикле работали великие мастера — Фидий, который был старшим над всеми мастерами, Калликрат, Иктин, Кориб, Метаген и Ксенокл, архитектор Мнесикл, за пять лет построивший великолепные Пропилеи.

Если во всяких гражданских делах Перикл проявлял большой талант, то не менее талантливым он был как стратег. Он никогда не вступал в сражение, если победа казалась сомнительной; самым умным советником он считал время, — говорит Плутарх, который в подтверждение этого приводит ряд фактов. Достаточно вспомнить предпринятое Толмидом, несмотря на предостережение Перикла, вторжение в Беотию в неподходящий момент, вызвавшее поражение и гибель Толмида, а также свидетельство Теофраста о том, что Перикл ежегодно посылал в Спарту по десяти талантов для задобривания спартанского правительства и предотвращения войны. Кроме того, морские походы Перикла в Херсонес и вокруг Пелопоннеса служат доказательством выдающегося военного таланта Перикла. Плутарх детально описывает вступление Перикла с большой эскадрой в Понт и Синоп (нынешние Поти и Сухуми) в 444 году до н. э., когда он сделал для эллинских городов все, что им было нужно. Если к Спарте Перикл относился доброжелательно, то эллинским городам он протягивал дружескую руку. Например, жителям Синопа Перикл оставил тринадцать кораблей под командой Ламаха и отряд солдат для борьбы с тираном Тимесилеем. После изгнания последнего Перикл отправил на жительство в Синоп шестьсот человек афинян, чтобы они находились там вместе с местным коренным населением.

Этого крупного государственного деятеля судьба связала с такой по тому времени незаурядной, умной, красивой и образованной женщиной, какой была Аспазия, дочь Аксисоха, родом из Милета.

Передачу, что Аспазия обладала ораторским талантом, как об этом сказано в диалоге Платона «Менексене», и не должно вызывать удивления то, что Перикл страстно полюбил прекраснейшую, первейшую гетеру тогдашних Афин.

Был еще один человек, который способствовал возвышению авторитета Перикла. Это — хромой механик Артемон, которого на носилках приносили на строительство и поэтому прозвали «Перифоретом», т. е. «Носимым вокруг», как поясняет Плутарх. Созданные Артемоном машины, возбудившие тогда всеобщее удивление, употреблялись как на стройках, так и при осаде крепостей. Взятие Самоса на девятом месяце осады явилось крупной победой военного гения Перикла, и в этом решающую роль сыграли машины Артемона. Возможно, что эта победа послужила причиной того, что Перикл возгордился, поскольку говорили: Агамемнону понадобилось десять лет для взятия города варваров Илиона. Перикл же в десять месяцев покорил первых, самых сильных ионян (стр. 216). Эта горделивость, очевидно, носила временный характер и отражала некоторые личные недостатки Перикла, присущие живому человеку.

В связи с личными недостатками и слабостями уместно вспомнить некоторые факты из биографии Перикла. Большие люди, особенно политические деятели, становятся объектами сплетен и тяжелых обвинений, но в отношении Перикла история оказалась наиболее строгой. Этому великому человеку были предъявлены страшные обвинения: якобы он вероломно убил своего друга Эфиальта и после этого захватил в свои руки власть; якобы принимал посылаемых Фидием женщин свободного поведения, вел распутную жизнь, сожительствовал с женой своего друга Мениппа; якобы Пирилампы посылал павлинов женщинам, с которыми Перикл находился в близких отношениях. Все эти вымышленные обвинения Плутарх называет клеветой против выдающегося человека, но самым ужасным он считает то, что Стесимброт Тасосский, очевидно, движимый злым демоном, обвинил Перикла в «связи с женою собственного сына» (стр. 207). И Фукидид не отстал от клеветников. Вместе с ораторами своей партии он обвинил Перикла в том, что он растрчивает деньги и лишает государ-

⁶ Подробнее см.: Георгий Джигладзе. Вопросы эстетической теории. 1961, стр. 658—673 (на груз. яз.).

ство доходов (там же). Правдой и силой железной логики Перикл победил, нанес поражение аристократической партии, а Фукидид согласно закону ostracism был изгнан из Афин. Все свидетельствует о том, что Перикл был не только крупным и бескорыстным. Унаследованное от отца имущество он не увеличил ни на одну драхму, хотя на протяжении целых сорока лет занимал высокие должности, а в последние 15 лет фактически был единоличным правителем. И Плутарх не случайно указывает, что Перикл в продолжение этих лет первенствовал среди Эфиалтов, Леократов, Миронидов, Кимонов, Толмидов и Фукидидов. Личная жизнь у него была суровой и скупой. В домашнем хозяйстве Перикла соблюдалась строгая экономия, что так хорошо удавалось его верному слуге Евангелу. Сыновья Перикла и их жены все время жаловались отцу и свекру, что получают слишком мало денег. Зато Перикл, как свидетельствует Плутарх, оказывал из собственных доходов материальную помощь многим своим бедным согражданам. Плутарх говорит, что хотя бережливость и расчетливость Перикла не были согласны с философией его же учителя Анаксагора, но иначе не мог поступить первый человек Афин. «Такой случай рассказывают, — пишет Плутарх, — и про самого Анаксагора. Однажды, когда Перикл был очень занят, Анаксагор, уже старик, лежал без призора, накрывши голову, чтобы покончить жизнь, уморив себя голодом⁷. Когда известие об этом дошло до Перикла, он в испуге сейчас же побегал к старику и стал уговаривать его оставить это намерение, оплакивая не его, а себя при мысли, что лишится такого советника в государственных делах. Тогда Анаксагор открыл голову и сказал ему: «Перикл, тот, кто имеет надобность в лампе, подливает в нее масла» (стр. 209).

Приведенные обвинения составляют лишь одну часть распространявшихся против Перикла клеветнических измышлений. Перикла и Аспазию обвинили также в убийстве посланного ими к мегарянам глашатая Антемокрита. Но, как считает Плутарх, «самое тяжкое обвинение» было связано с делом Фидия и поддержано большинством свидетелей.

Знаменитый скульптор античного мира Фидий, который был в очень близких отношениях с Периклом и из зависти многих врагов, стал жертвой этого обвинения, хотя само обвинение в присвоении золота не подтвердилось. При изготовлении статуи Афины Паллады Перикл посоветовал Фидию так обложить золотом статую, чтобы при надобности можно было снять его целиком без повреждения самой статуи. И когда некий Менон, помощник Фидия, поощренный врагами Перикла, предъявил великому мастеру официальное обвинение, умный правитель Афин обратился в Народном собрании к обвинителям с предложением — снять и взвесить золото. Плутарх пишет, что так и поступили: золото взвесили, и кража не подтвердилась. Однако Фидию не удалось уйти от другого обвинения. Вырезая на щите сражение с амазонками, он изобразил и себя самого в виде плешивого старика, поднявшего камень обеими руками, чтобы бросить его в амазонку. Там же он поместил «прекрасный портрет Перикла, сражающегося с амазонкой. Рука Перикла, державшая поднятое копьё перед лицом, сделанная мастерски, как будто хочет прикрыть сходство, но оно видно с обеих сторон» (стр. 218). Так пишет Плутарх, который повествует об этой истории, как о попытке завистников Фидия обвинить скульптора в самовозвеличении. Фидия ответили в тюрьму, где он умер от болезни, а враги Перикла распространили слух, якобы Фидия отравил Перикл, побоявшись его показаний на суде (стр. 420).

Периклу приходилось переносить немало насмешек, которым подвергались он и его семья в стихах комических поэтов и произведениях драматургов. Плутарх не случайно приводит место из произведений Аристофана, Кратина, Евполида, Гермиппа, в которых содержатся издевательские выпады в адрес первого человека Афинского государства, его жены и сыновей. Но Перикл не обращает внимания на «негодующие крики и недовольство граждан». Убеденный в своей правоте, он руководит страной, как в бушующем море искусный «кормчий корабля», который не взирает на «слезы и просьбы испуганных пассажиров». Перед отплытием на войну, когда Перикл вошел на свою триеру, произошло солнечное затмение, что сильно испугало и повергло в отчаяние воинов; кормчий же совершенно растерялся. Перикл подошел к нему, поднял свой плащ перед его глазами и, накрыв его, спросил, неужели в этом есть какое-нибудь несчастье или он считает это предзнаменованием какого-нибудь несчастья? «Нет», — ответил кормчий. «Так, чем же то явление отличается от этого, — сказал Перикл, — как не тем, что предмет, который был причиной темноты, больше плаща?». Такой рассказ приводится в

⁷ См. по этому вопросу примечания к первому тому «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (стр. 489), где читаем: «По обычаю древних, люди, умиравшие или желающие добровольно умереть, накрывали голову».

лекциях философов, подчеркивает Плутарх (стр. 221). И неудивительно, что Перикл, обученный Анаксагором естествознанию, рассуждает так трезво об опасных по тому времени небесных явлениях.

В последние годы своей жизни, в результате народных волнений, Перикл был отстранен от должности стратега. К этому добавилась большая семейная трагедия — смерть сыновей Ксантиппа и Парала, а также любимой сестры, многих родственников и близких от свирепствовавшей в то время эпидемии чумы. Правда, Ксантипп в течение всей своей жизни неодобрительно отзывался об отце, даже распространил сплетню о сожительстве Перикла с его женой, но сын все же был сыном, а когда хоронили Парала, Перикл, возлагая на него венок, зарыдал (стр. 222). Однако он «не потерял величия духа и твердости» (там же), хотя смерть Парала сломила его и заставила в первый раз в жизни заплакать.

Афиняне не смогли подыскать никого, чтобы назначить на место отстраненного Перикла. Ни один из тогдашних ораторов и стратегов не оказался на высоте ни по авторитету, ни по силе влияния на народ. Афиняне жалели, что отстранили Перикла, и стали просить его, чтобы он поднялся на ораторскую трибуну или явился в помещение стратегов. Убитый горем Перикл не соглашался. Друзья, прежде всего Алкibiад, уговаривали его пойти, и только после того, как народ попросил простить ему его несправедливость, Перикл снова принял должность стратега (был вновь избран) и приступил к выполнению своих высоких обязанностей.

Вслед за избранием Перикл потребовал отмены введенного по его же предложению закона о незаконорожденных детях. Закон признавал законными детей, родители которых (и отец, и мать) были афинянами. Аристотель указывает: «По предложению Перикла постановили, что не может иметь гражданских прав тот, кто происходит не от обоих граждан»⁸. Когда Перикл предлагал принять этот закон, он имел двух законных сыновей от первой жены — Ксантиппа и Парала, но потерял обоих во время чумы. От Аспазии Перикл имел сына, но поскольку мать его была родом из Милета, то он, согласно упомянутому закону, не считался законным. Афиняне уважили просьбу Перикла и разрешили ему внести своего сына, родившегося от Аспазии, в «список членов фратрии» (стр. 233), чтобы не прекратился род Перикла, но ранее принятый закон они не отменили.

После своего последнего избрания на пост стратега Перикл жил недолго. Скованный тяжелым недугом, он все же не терял мужества, хотя жизненные силы его могучего организма изо дня в день таяли. Перед смертью верные друзья и близкие собрались в доме прославленного стратега, вспоминали прошедшие времена, хвалили его «высокие качества и политическое могущество», перечисляли его «подвиги и количество трофеев» (там же). Окружавшие думали, что Перикл уже потерял сознание, ничего не слышит, находится в агонии, но, оказывается, стратег все это слушал внимательно. Неожиданно Перикл прервал разговор друзей и выразил удивление, что они прославляют такие его заслуги, в которых равная доля принадлежит и счастливым обстоятельствам и которые бывали уже у многих полководцев, а о самой славной и важной заслуге не говорят!

В чем заключалась эта «самая славная и важная заслуга»?

Перикл так охарактеризовал ее: «Ни один афинский гражданин из-за меня не надел черного плаща» (стр. 224).

Таким был Перикл по словам его биографов, прежде всего по сведениям Плутарха. Но как он показан в романе «Человек из Афин»?

Перикл представлен в романе таким, каким мы знаем его по данным научной истории. Для чего же надо было писать роман? — может спросить читатель, недостаточно разбирающийся в проблемах познавательной специфики истории и искусства. Дело в том, что история не может сказать то, что может сказать искусство. Еще Аристотель поступил правильно, поставив поэзию в отношении познавательной ценности выше истории, ибо общее всегда больше частного. В романе Гуляя это «больше» достигнуто настолько хорошо, что перед нами вместе с монументальным образом Перикла в необыкновенно привлекательных картинах воспроизводится вся его волнующая эпоха. Мы все видим, все чувствуем, всего касаемся, и все нас трогает, словно и мы являемся участниками всего того, что происходило тогда. Артемон, которому история уделила несколько сухих строк, предстает перед нами как живой, крупный деятель античной эпохи; отец медицины, знаменитый Гиппократ — передовым гражданином Афин, патриотом и мудрым человеком, который говорит Периклу без всякого лицемерия: «Твоя жизнь нужна народу». Все исторические лич-

⁸ Аристотель. Афинская полития. 1937, стр. 38.


ности, участвующие в романе, — Аспазия, Евангел, Ксантипп, Парал, Сократ, Анаксагор, Фукидид — представлены подобным образом. Попутно оживляются увлекательные страницы древней истории доперикловой Греции и все преподносится в такой органической цельности, что перед нами словно открывается замечательное прошлое человечества, явившееся колыбелью современной цивилизации.

Автор с удивительной красочностью изобразил историческое прибытие Перикла с большим флотом в Колхиду в 444 году до н. э., его интерес к рассказам об аргонавтах, легендарное путешествие Язона. История с «золотым руном» все время занимала Перикла, — говорит он. Обо всем этом Периклу рассказал великий историк античной эпохи и прекрасный писатель Геродот. Не лишена интереса дискуссия о неделимости и единстве правды, о проблемах «прекрасной правды» и «уродливой или горькой правды». Неизвестно только, откуда взята близость абхазских слов со словами, произнесенными сыном Гудаса. В таких случаях историческая проза тоже обязана ссылаться на источники, хотя бы в сносках. Это должно было быть сделано и там, где отмечается сходство Джгерда и Дсегерды, Гагры и Гагре, Тапаса и Туапсе. Автор правильно характеризует Геродота и Зенона, особенно Алквиада — воспитанника Перикла, на которого возлагали большие надежды, вместе с тем отмечает ошибку, допущенную воспитателем в оценке будущего (Алквиад принес больше вреда родине, чем пользы). Одним из прекрасных мест в романе является сцена, когда Перикл в присутствии Геродота и Зенона говорит своему советнику Дамониду по поводу его изгнания из Афин (наказания ostracismom): «Мне жаль тебя, Дамонид... Они хотели бы выгнать меня, но выместили злобу на тебе. Это не тебя предали ostracismu. Меня изгнали... Если моего советника лишают города, который многим ему обязан, — значит, не в советнике дело...». Отстраненному Периклу, которого не решились изгнать, Дамонид, со своей стороны, говорит в присутствии друзей: «Скоро я буду далеко от вас... Они (афиняне. — Г. Д.) придут сюда, к нему (к Периклу. — Г. Д.), и станут просить прощения. Они... будут упрашивать его занять высокий пост, которого они лишили его так необдуманно». Слова Дамонида вскоре оправдались.

В романе так много увлекательных, мастерски написанных сцен, так интересно все, что преподносится в нем, что невозможно подробно остановиться на каждом моменте. Достаточно упомянуть молодого афинского патриота — юношу Агенора, который считает Перикла тираном и преследует его по пятам с намерением убить. Нельзя без волнения читать диалоги Перикла и Агенора, в которых мудрость афинского стратега показана во всей силе.

Но некоторые диалоги слишком растянуты. Лаконичность сделала бы их более интересными. В этих диалогах Перикл выступает мудрым, степенным человеком, обладающим знаниями и опытом, кои необходимы для управления государством. Когда Аспазия говорит мужу об Агеноре: «Я уверена, что он подослан врагами. Возможно, что это обыкновенный сикофант» — Перикл отвергает мнение умной жены: нет, это не сикофант, я их видел немало, «разве у них горят глаза? Разве они волнуется? Разве они страдают?». Только великий человек мог так объективно судить о противнике. И как хорошо поступил автор, завершив четвертую главу своего романа следующим письмом Агенора к Периклу: «О великий Перикл, а все-таки был ты тираном и останешься им, если тебя снова выберут в стратеги наивные афиняне. Прощай, великий, благородный тиран! Агенор». Такой юноша, как Агенор, не разбиравшийся в вопросах управления государством, не мог иначе оценить великого афинского стратега.

Очень хороша беседа Перикла с историком Геродотом о поэзии (восхваление итальянских поэтов, певцы колхидской земли, указание на то, что в Колхиде много поэтов, хуление графоманов, подчеркивание целительной силы музыки), которая занимает всю главу. И последующая глава по существу посвящена искусству, архитектуре и на этом фоне — строительству Акрополя. Очень близко к истине приписанное писателем известному зодчему Калликрату изречение о строительстве Акрополя: «Все, что будет построено здесь человеческими руками, должно соперничать с божественным». Не только Фидий, Алкмеон, Клеонт, Калликрат, Мнесикл, живописец Микон, ваятель Поликлет, но все, в том числе философ Анаксагор, историк Геродот, молодой врач Гиппократ, — одним словом, все с одинаковым увлечением относятся вместе с Периклом к идее строительства Акрополя, что, безусловно, надо считать исторической правдой. Строительство Акрополя явилось одним из крупных начинаний при Перикле, грандиозность которого поражает и ныне, и невозможно, чтобы передовые люди того времени не были проникнуты патристическими чувствами к нему.



Большой интерес вызовет у читателей мастерское использование сведений о Гиппократе, в частности о кровопускании⁹, а также о том, что молодой Гиппократ творил чудеса в тогдашней медицине, «получал письма отовсюду»¹⁰ в том числе из Колхиды. Автор не случайно заставляет историка Геродота сказать о Гиппократе слова «странный врач».

Вообще у всех знатоков истории Древней Греции вызовет большой интерес художественное воплощение всех имеющихся в распоряжении человечества фактов, касающихся обитателей древней Эллады. Здесь и Мнесикл — строитель Пропилей, и жена Сократа — прекрасная Ксантиппа, которая, будучи 20-летней красавицей девушкой, отвергла славившегося красотой молодого Алкивиада и предпочла 40-летнего некрасивого Сократа. Читателей заинтересует также живое описание тогдашней философской среды, в частности показ Сократа в комнате, словно находящегося на агоре, где он передавал свои знания ученикам и рассуждал о том, что разум выше души, как родители выше своих детей (отсюда философское кредо Платона и впоследствии неоплатоников о взаимоотношении разума и души); диалог Софокла и Аспазии, переходящий в жанр драмы. Конечно, автор вносит в историю немало собственного, прибавляет и добавляет, но так, что не разрушает духа истории, а наоборот, воспроизводит то, что дошло до нас в виде фрагментов и лакун. Говоря образно, писатель поступает так: там, где история говорит «пришел», писатель говорит: «зашагал, перешел через улицу, вошел во двор, открыл дверь». Потому и становится возможным, что по одному клочку истории, по двум строкам фольклорного источника¹⁰ нередко создаются целые произведения. Факты? Факт весь роман, а конкретно можно назвать столь частые встречи восставшего против тирании юноши Агенора с Периклом. Эти встречи — лучшие места в произведении, органически вплетенные в развитие сюжета. Но спросим: можно ли допустить, что рядовой афинский гражданин, к тому же юноша, с таким фанатизмом обвинявший первого правителя государства в тирании и грозивший ему убийством, встречался с ним лично (да еще сколько раз!), высказывал свои антиперикловские политические мысли и остался невредимым? Ни в коем случае, если бы Перикл был Кимоном, каким-нибудь будущим Суллой или Цезарем! Но было возможно, поскольку Перикл был Периклом, талант и человеческое сердце которого сделали то, что в течение сорока лет он оставался в неприкосновенности выдающимся мужем Афинского государства, из них в продолжение пятнадцати лет его первым человеком, и что же получил в награду? Он сам говорит в диалоге с Агенором: «Ты прав: я сорок лет служил Афинам. Что приобрел я за это время? Седины? Раны? Болезни? Несчастья в семье? А еще что? Неужели же хоть один лишний клочок земли, сверх родового участка? Неужели же хоть один лишний обод из государственной казны? Неужели же превысил свою власть, чтобы преследовать своих политических противников? Кого приговорили к казни? Кого я обидел горькой, незаслуженной обидой? Кого? И когда меня, стратега, призвали на суд, что сказал я? Разве связал я по рукам судей? Разве послал я стражу, чтобы разогнать их? Нет, я покорно подчинился, ибо я — демократ и признаю всей душой верховное судейство и верховную власть народа. И пусть неукоряют меня тем, что живу на воле, а не в темнице! И не в изгнании. Я скажу, что случилось на суде: я был невиновен, я был чист! Это было доказано! Именно это, а не мои речи сыграли роль, как это утверждают недруги. Афинский суд не Одеон, где трагик выжимает слезу у зрителя, чтобы заслужить одобрение. Если ты способен здраво мыслить, подумай над моими словами».

Здесь весь Перикл, все его существо, вся его жизнь, его мысли, призвание, дела, политическое кредо, мораль и совесть. Трудно себе представить его лучшую, более краткую, более исчерпывающую характеристику. Правда, Агенор не историческая личность и он никогда не встречался с Периклом, но автор имел полное право ввести в свой роман этого молодого человека как политического противника первого стратега Афин, поместить его в центре описываемых ситуаций, предоставить юноше возможность говорить с выдающимся правителем Афин и таким путем живо изобразить тогдашнюю сложную обстановку Древней Греции. Это мы и называем воплощением лакун исторических источников с помощью реальной фантазии художника.

Или возьмите описание строительства Парфенона. История сохранила скудные сведения о строительстве Акрополя и Парфенона, но в романе так детально представлено все это, что мы, читатели, невольно становимся участника-

⁹ См. по этому вопросу: Георгий Джибладзе. Эстетический мир Руставели, 1968, стр. 219—222 (на груз. яз.).

¹⁰ Подробнее по этому вопросу см.: Георгий Джибладзе. Критические этюды. 1955, т. II, глава V «Важа Пшавела», стр. 323—348 (на груз. яз.).

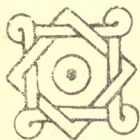
ми тех дебатов, которые, несомненно, должны были иметь место при Перикле. Эти дебаты изложены автором очень хорошо. Вполне соответствует исторической истине указание на то, что Перикл старался (и добился цели) согласовать проекты двух выдающихся зодчих — Иктина и Калликрата; не механически, а творческим путем использовать как дорический, так и ионийский стили для создания большей grandiozности. Синтез двух стилей должен был быть естественным. В мемориале «У далеких памятников искусства» мы не случайно писали: «Большой любитель философии и культуры, красивый, умный и отважный Перикл все свои личные достоинства превратил в свойства своего времени, продвинул вперед жизнь народа и в V веке до н. э. добился таких успехов, подобных которым не знали его предки. При Перикле Афинское государство добивается значительных успехов во всех областях общественной жизни. При нем с новой силой начинают цвести философия, драматическая литература, поэзия, театр. При нем же бушует демократический дух афинян, строятся новые учреждения, храмы, общественные, религиозные, частные здания... Архитекторами Парфенона были Иктин и Калликрат... С Парфеноном связано имя гениального скульптора Фидия¹¹. Далее: «Пропилеи имели чисто психологическое и эстетическое значение. Шесть колонн дорического стиля олицетворяли крепость, стойкость, мужество, а три колонны ионийского стиля — нежность и красоту. Первые оставляли впечатление мужественного, героического характера, а вторые — нежного, женственного»¹². Что во всем Акрополе, в связанном с ним ансамбле господствуют дорический и ионийский стили с использованием лучших образцов древней египетско-сирийской архитектуры, это вне всякого сомнения¹³. Поэтому мне доставили удовольствие следующие слова Перикла в диалоге с Фидием: «Мнение Фидия (творческое соединение дорического и ионийского стилей, проектов Калликрата и Иктина. — Г. Д.) представляется мне верным в своей основе. Строгий дорический стиль близок нам, воинам. Но есть и поэты. Они — в самой гуще народа, как и военные. Весьма и весьма примечательным будет привнесение легкого и красивого ионийского стили в суровость дорического. Давайте же объединим в нашем небывалом предприятии две головы — Иктина и Калликрата — и скажем им: «Успехов вам, зодчие!»

Это и есть, как мы указывали, восполнение лагун исторических источников с помощью реальной фантазии художника, что мастерски используется автором, поскольку его знания неизменно сопутствует творческий талант.

¹¹ Георгий Джибладзе. Вопросы эстетической теории. 1961, стр. 660—661 (на груз. яз.).

¹² Там же, стр. 663.

¹³ Подробнее см. там же, стр. 655—684.



БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

1

Одним из интересных произведений, художественно отобразивших боевое содружество братских народов в годы Великой Отечественной войны, является роман-трилогия С. Тавадзе «Майские зори». Он освещает тот ее период, когда грузинские соединения плечом к плечу с другими соединениями Советской Армии героически отставали Кавказ, с боями шли к Крымскому полуострову, сражались за свободу и независимость социалистической Родины.

Первая часть романа называется «Друзья». Мы знакомимся здесь с украинцем Михаилом Сенько, грузином Самсоном Ломтатидзе и азербайджанцем Мамедом Керимовым. Всех их объединяет ненависть к захватчикам и самоотверженная любовь к Родине.

В образе Мамеда Керимова писатель воплотил черты советского рабочего, которого необходимость защищать Родину заставила взять в руки ружье. Автор с большой симпатией относится к Мамеду. Обаятелен и его внешний облик: «Представительный был парень Мамед. Смуглый, высокий. Обожженное солнцем удлинненное лицо его отливало медью, а когда он смеялся, видны были белые, как жемчуг, зубы; слегка выпуклые глаза щурились. Он был сыном бакинского рабочего-грузчика и вырос в городе. Русский знал довольно прилично, но в разговоре часто употреблял азербайджанские слова...».

Мамед Керимов твердо верит в справедливость дела, ради которого готов жертвовать собой. Все его слова и поступки пронизаны чувством интернационализма и патриотизма. «Жили люди, трудились, строили... — говорит Мамед. — Так было везде, во всей нашей стране. Мы построили для себя новую страну, росли, шли вперед... Пришел этот палач и грозит все разрушить, поработить нас... У нас один путь — либо смерть, либо победа. Это очень

сложно, трудно мне объяснить. Но я думаю, что в этой борьбе смерть равна жизни... Понял, почему? Смерть одного, даже ста человек будет мостом к свободной и счастливой жизни миллионов будущих поколений».

С большим теплом рассказывает С. Тавадзе о дружбе между Мамедом и Самсоном.

— Слушай, Самсон! Ты хороший парень, нравишься мне... Давай побратаемся...

Некоторое время они молчали. Потом Самсон молча поднял руку и обнял Мамеда за плечо.

— Будем братьями и в горе, и радости! — взволнованно ответил Самсон...

С трудом глотнув воздух, Мамед твердо сказал: — Да не вернется домой живым тот, кто предаст эту клятву!»

С тех пор два друга были неразлучны.

Третий фронтовой брат Мамеда Керимова и Самсона Ломтатидзе — Михаил Сенько, человек неиссякаемой жизнерадостности и бодрости. Он всегда весел, готов пошутить, побалагурить, чтобы развеселить товарищей. «Что-то такое всегда было в его словах, взгляде, что непременно вызывало смех у людей... Его большие руки и широкие ладони говорили о том, что он с детства приучен к физическому труду. Голос у него был приятный, среди запевал не было ему равных».

...Советские войска предприняли контрнаступление. Первыми на высоту прорвались Шалва Кипшидзе, Самсон Ломтатидзе, Мамед Керимов и Михаил Сенько, сразу же увидевшие погибших товарищей. «Они пошли медленнее, подошли к убитым Датику и Косте. Долго стояли молча. Потом Шалва выхватил саперную лопату. Копали быстро, очень быстро, чтобы работой заглушить горечь, душившую их».

Смерть человека не представляется Соломону Тавадзе незначительным событием. Напротив, описывая гибель ге-

роев, он создает ситуации, вызывающие у читателя глубокие переживания.

Во время боев у Калабатки к командному пункту одного из батальонов подкрался немецкий разведывательный отряд. В блиндаже в это время находились двое — старший лейтенант Думбадзе и солдат-связист Михаленко. Немцы ворвались в блиндаж. Двое советских воинов вступили с ними в неравную схватку. «Думбадзе выбил из рук офицера пистолет, пуля просвистела у него над головой. Немец был довольно рослым, но бывший гимнаст легко одолел его. В блиндаж ворвались еще немцы, их встретил Михаленко, он убил двух и сам упал, смертельно раненный.

Думбадзе продолжал бой один, но немцев было очень много, а у него кончились патроны. Фашисты расстреляли безоружного офицера. Так погибли в неравном бою с врагом Думбадзе и Михаленко.

Из троих Сенько — самый храбрый и сильный, он в совершенстве владеет необходимыми солдату навыками. «В рукопашном бою у Михаила Сенько не было равных. Как тигр дрался этот плотный, крепкий парень. Весь он был слонон из стали отлит».

Все они проявляют друг о друге истинную братскую заботу. Вот лишь один эпизод, подтверждающий их содружество. «Самсон не помнит, как он очутился именно в том месте, где шла ожесточенная рукопашная схватка. Но он знает, что не отходил от Мамеда и Михаила Сенько, всегда был рядом с ними. Всего несколько минут назад Сенько спас от неминуемой смерти Самсона, которого атаковали четверо фашистов. Пока Самсон справлялся с одним, Сенько уложил троих».

В боях все трое активны, действуют согласованно, помогают друг другу. Если Михаил Сенько спас Самсона от смерти, то в роковую минуту и Самсон пришел на выручку к Мамеду Керимову. «Самсон посмотрел вбок и от неожиданности чуть не вскрикнул: Мамеду прихотилось туго, он прыгнул и заставил отступить фашиста со штыком... потом, не удержавшись, споткнулся и покачнулся. Враг воспользовался моментом и ударил его штыком. Страшно отомстил ему Мамед. Рассек грудь фашисту, а Сенько, сильными руками подхватив Самсона, словно малого ребенка, понес его к лесу».

Глубокого значения и смысла исполнена сцена гибели медсестры Натальи Григорьевны. Ради спасения бойца она жертвует собой. А этот боец — Акакий Качарава; тяжелораненый, будучи уже не в силах выносить мучения, он хотел только одного — умереть. Но когда увидел направляющуюся к нему Наталью Григорьевну, которая явно рисковала жизнью ради него, новое чув-

ство овладело им. Ему страстно захотелось жить. Самоотверженностью медсестры пробудила в нем жизненные силы, ему отчаянно захотелось сохранить свою жизнь, ту самую жизнь, которую торопилась спасти эта женщина. Это один из лучших эпизодов в романе. В нем писатель с особенной глубиной проник в психологию своих героев. В мыслях и действиях Натальи Григорьевны и Акакия Качарава раскрывается духовный мир патриотов, оказавшихся на грани жизни и смерти. Факт духовного перерождения Акакия Качарава еще раз подчеркивает, какое значение имеет помощь человека человеку, когда он остается один на один со смертью.

Героическая гибель русской женщины свидетельствует о том, что советские люди, даже жертвуя своей жизнью в борьбе с врагом, побеждают смерть. И Акакий Качарава умирает, веря в это.

Во второй части романа, которая называется «У врат Кавказа», происходит волнующая встреча Михаила Сенько с Самсоном Ломтатидзе, к тому времени — уже офицером. Михаил Сенько, жену которого, Катерину, замучили фашисты, охвачен жаждой мести. В беседе с Самсоном Сенько говорит: «Мое сердце пылает, как огонь, который не погаснет до тех пор, пока не спалит логово врага». Сенько знает, что такой же огонь горит в миллионах сердец советских людей.

В романе ярко обрисованы и образы женщин, самоотверженно сражавшихся с врагом. Это, во-первых, медсестры — Татьяна Павловна, Марика Накаидзе и Этери Маргалатадзе. Суровые условия фронтовой жизни закаляли их волю, сделали их настоящими бойцами.

С прошлым Татьяны Павловны писатель знакомит нас в нескольких словах. Мы узнаем, что в финскую войну у нее погиб муж. В то время она ждала ребенка. Когда началась Великая Отечественная война, Татьяна Павловна оставила десятимесячного ребенка у матери и ушла на фронт.

Марика Накаидзе — неразлучный друг Татьяны Павловны. Она больше всех подвержена ее влиянию. Это одна из тех женщин, которым необходим друг, подающий пример, способный поддерживать в трудную минуту. Таким другом стала для нее Татьяна Павловна. Еще до войны, разойдясь с мужем, Марика жила одинокой жизнью, без всякой цели, без мечты. Но с тех пор, как она пошла на фронт добровольцем, ее жизнь обрела большой смысл. В первое время, правда, ей было трудно, мучили страдания раненых. Но потом, когда у нее появились такие верные друзья, как Татьяна Павловна и Этери, она окрепла духом.

Самой значительной женской фигурой в романе представляется Этери Маргалитадзе. Горестная судьба постигла и ее, и ее жениха Самсона Ломтатидзе — оба погибли.

С большой симпатией и теплотой раскрывает автор образ умного и доброго старика - осетина Хаизбара. Старость не сломила его, годы нелегкой трудовой жизни не истощили его энергии. Он спокоен и терпелив. Вот как рассказал он о себе грузинам-разведчикам, проникшим в занятую фашистами деревню: «Вы, конечно, хотите узнать, кто такой старик Хаизбар... Скажу кратко: трое моих сыновей, два зятя и четыре внука на фронте, если прибавить к ним племянников и племянниц — будет около пятнадцати человек. Так что вся моя плоть и кровь с вами. Что мне еще сказать!.. Можете располагать мной».

И в нужную минуту Хаизбар, рискуя жизнью, оказывает помощь группе Самсона Ломтатидзе. Искренний и умудренный опытом, он скоро завоевывает сердца своих новых друзей.

Для Самсона Ломтатидзе и его товарищей Хаизбар стал живым воплощением несгибаемого Кавказа. В его образе отразились мужество и героизм осетинского народа.

Среди произведений грузинской литературы, посвященных теме Великой Отечественной войны и героическому участию в ней грузинского народа, роман «Майские зори» самый большой по объему. На протяжении последних двух десятков лет эта тема стала основной в творчестве Соломона Тавадзе. Об этом свидетельствует и приписка писателя в конце романа: «Мысленным взором окидывал я путь, пройденный с боями нашими соединениями, видел братские могилы в кубанских степях, Калабатне, Анапе, Керчи; гордостью наполняла меня добытая нашими воинами победа, и я мечтал отобразить их самоотверженность, идейную силу, мечтал создать им памятник. Автору трудно сказать, насколько это ему удалось, но я доволен хоть тем, что в этом произведении слиты воедино вся моя творческая энергия и глубокая любовь».

В романе ообразены большие исторические события; действие развивается на большом отрезке времени и на большой территории. Поэтому естественно, что в «Майских зорях» много действующих лиц. Не все их образы совершенны, но Соломон Тавадзе, по нашему мнению, достиг главной своей цели. Он смог создать несколько колоритных фигур грузинских бойцов — защитников Родины, которые останутся в памяти читателя. Таков офицер Шалва Кипшидзе, в образе которого обобщены многие черты грузинской

интеллигенции. В бою Шалва бесстрашен, он подает пример храбрости своим солдатам, заражает их своим энтузиазмом. Прекрасный знаток грузинской литературы, Кипшидзе нередко цитирует бойцам строфы из поэмы Ш. Руставели и Важа Пшавела, призывающие к смелости и мужеству.

Надолго запоминаются рядовые Коля Барбакадзе, Давид Джаная, Ладиме Георгадзе, Иракий Карашвили и другие. Коля Барбакадзе — добрый и жизнелюбивый парень, хлебосольный грузинский крестьянин. В бою он быстр, находчив, никогда не теряет надежды и в самые критические минуты может ободрить прунувших товарищей уместной шуткой. Он заботлив по отношению к товарищам. Коля Барбакадзе знает, что он и его соратники борются за великое справедливое дело и что потомки по достоинству оценят подвиг отцов.

Одна из интересных фигур в романе — Давид Джаная. Сельский учитель, мирный человек, он в страшные дни войны с оружием в руках пошел защищать Родину. Давида Джаная и Колю Барбакадзе объединяют честность, безграничная любовь к Отчизне, мужество. Давид — спокойный, вдумчивый, человек, взвешивающий все «за» и «против» в любых ситуациях. Он оптимист и глубоко верит, что «если весной в землю не бросишь семя, то летом не получишь плодов. Как и это семя — каждый из нас, кто падет на поле боя... он даст жизнь новым росткам».

За столом, накрытым в честь победителей в доме у Коли Барбакадзе, Давид произносит такую речь: «Наша армия — армия национального братства и свободы, и на свете нет такой силы, которая могла бы ее победить... Давайте оглянемся на путь, пройденный нами, на братские могилы. Вспомним нашего Самсона Ломтатидзе, полковника Селихова и майора Ивана Фролова, Ладиме Георгадзе, Иракия Карашвили, Акакия Качарава, Наталью Григорьевну, Автандила Кварацхелия, Нестора Иремадзе. Всех не перечислишь, их много».

В этих словах своего героя писатель выразил чувство нерушимого единства и дружбы всех народов нашей страны, которые сражались и умирали за Родину.

2

Творчество мастера грузинской советской прозы Демны Шенгелая касается многих актуальных тем, одна из которых Великая Отечественная война.

В рассказах Д. Шенгелая на эту тему большое место занимает боевое содружество братских народов Советского Союза. Наиболее значительны в этом отношении рассказы «Месть» и

«Красный мак». Герой первого из них — выросший среди болот и лесов Колхиды летчик Вада Парджикия. Он самоотверженно защищает небо Москвы, мстя фашистам за сожженные и уничтоженные города и села нашей страны, за миллионы убитых и замученных жителей России, Украины, Белоруссии. Жажда мести ни на минуту не покидает его. Преследуя в небе над Москвой самолет, Вада с гневом думает: «Кто знает, сколько матерей он сделал несчастными, сколько оставил вдов, сколько сирот! Кто знает, сколько чистых девушек и юношей он поубивал, сколько семей он загубил...».

И летчику кажется, что убитые зывают к мести, которая представляется ему первейшим долгом: «Внезапно перед глазами его предстали те убитые, уничтоженные, которые с мольбой протягивают руки к небу и молят его, словно говорят, что невинная кровь не отмщена, слезы не осушены. Эти стоны Парджикия слышит оттуда, снизу — со всех уголков земли».

Даже чувство самосохранения отступает на второй план, уступая место мести.

Советский воин-грузин показан Демной Шенгелая как герой карающий и справедливый. Во многих странах мира фашисты проливали невинную кровь, и Вада Парджикия верит, что самолет, который он преследовал, много раз уже сеял смерть. Это чувство удесяттеряет силы грузинского летчика. И он побеждает фашиста в воздушном бою. Победа приносит ему огромное удовлетворение.

«Красный мак» — самое крупное из произведений, написанных Д. Шенгелая на тему войны, и в то же самое время одно из лучших по своим идейно-художественным достоинствам.

Офицер-журналист Бежан Давладзе, от имени которого ведется рассказ, прошел всю войну. И где бы он ни воевал, везде ощущал заботу и помощь. Это взаимное уважение бойцов разных национальностей проявляется уже в самом начале рассказа. Фронтовые журналисты живут большой дружной семьей. Тут и русские офицеры Касаткин, Чибисов, Заветов, украинец Соменко, грузины — офицер Бежан Давладзе и рядовой Самсон Бахтуридзе.

В одном из боев Бежан был ранен и попал в полевой госпиталь. В палате, куда привезли потерявшего сознание Давладзе, лежали украинец капитан Пилипенко, русский полковник Савгачев и грузин лейтенант Матахерия. Во взаимоотношениях этих людей чувствуется большая теплота и сердечность, сглаживающая разницу в их характерах. Читатель вместе с героями радуется, когда Бежан приходит в себя. В рассказе дан образ русской девушки Ма-

шеньки, доброта и искренность которой облегчали страдания раненых. Она спасла и Давладзе, обреченного на смерть, отдав ему свою кровь. Бежан, узнав об этом от товарищей, был потрясен ее самоотверженностью.

Еще большее уважение чувствуем мы к Машеньке, когда узнаем, как она убеждала врача, потерявшего надежду на спасение раненого, в необходимости перелить ему кровь.

Интересен эпизод, когда раненые обсуждают положение дел на фронте. Киевлянин Пилипенко возмущается тем, что затягивается освобождение Киева. В споре с товарищами он бросает им упрек в том, что их не волнует судьба Киева. Этот упрек Пилипенко обидел всех. Матахерия, волнуясь, сказал, что хотя он и не киевлянин, но судьба Киева тревожит его ничуть не меньше, чем Пилипенко, и что он готов сложить голову за него, если потребуется. Матахерия поддержал другие. Пилипенко невольно призадумался после этих слов и спустя некоторое время попросил извинения у товарищей.

Весьма колоритной фигурой представляется нам Астамур Матахерия. Читатель знакомится с ним в полевом госпитале, где он лежал после ранения. К тому времени он уже испытанный в боях воин, прошедший огонь и воду. Астамур твердо убежден, что враг будет изгнан, но боится, как бы война не закончилась без него, и стремится пораньше выписаться из госпиталя.

С Астамуром тесно связан в рассказе образ Машеньки. Если по отношению к Бежану Давладзе она предстает перед нами в роли спасительницы, то ее отношения с Матахерия развиваются сложно. Об этом мы узнаем, когда он героически погиб незадолго до победы. «Оплаканного скупными солдатскими слезами Матахерия в то же утро предали земле, орошенной его кровью. С горечью смотрели мы на неотправленное Машеньке письмо и ее фотографию, которые обнаружили в его кармане», — рассказывает Бежан Давладзе.

Привлекателен образ нянечки, пожилой русской женщины Акулины Ивановны. Она безгранично верна своему делу. Человеколюбие и сочувствие — основные черты характера этой доброй женщины. Она всей душой привязана к раненым, ей даже трудно бывает с ними рассговариваться, когда они выписываются из госпиталя.

Своеобразен образ рядового — пожилого крестьянина Самсона Бахтуридзе. Все офицеры, работающие в полевой газете, ценят Самсона за расторопность, природный ум, воспитанность. Но более всего дружил с Бахтуридзе художник редакции полевой газеты Заветов. В свободное время они рассказывали друг другу о своем прош-

лом и хорошо понимали друг друга. Самсон Бахтуридзе полон неиссякаемого оптимизма. Он вместе с другими до конца прошел войну, пережил все ее ужасы и отпраздновал победу в Берлине.

Бойцам своего соединения он приносит газету с сообщением о конце войны. «Война закончилась, товарищи! Приказ командования прекратить огонь! Фашисты побросали оружие! — И он вскинул автомат.

— В последний раз, потом уже будет поздно, — сказал он и дал очередь по дому, стоявшему напротив. Треск автомата разорвал тишину. В ответ на стрельбу в окна дома появились насаженные на штыки белые тряпицы.

Самсон присел на гнутый трамвайный рельс и громко сказал: — Теперь домой, вернусь домой и порадуя старуху звоном медалей. Отравила мне существование. Как я, говорит, вышла замуж за такого рохлю? Увидит, какой я рохля».

Демна Шенгелая реалистически рисует батальные сцены. Неподражаема, например, картина горящего города, где «враг ожесточенно защищал каждый дом, каждый этаж. Стоны людей, грохот орудий сливались в сплошной гул. Ночь, разорванная прожекторами, была светла, как день. Дома, дворцы, скверы светились то голубым, то багровым светом... По небу шарили длинные лучи прожекторов. Над городом, обвьятым пламенем летали самолеты, и вой фугасных бомб сливался с гулом зенитных орудий. Красные языки пламени лизали нависшие над городом тяжелые облака».

В этой мастерски написанной сцене каждая фраза имеет свой цвет и тон.

3

В произведениях Раждена Гветадзе на военную тематику чувствуется, как остро переживал писатель несчастья, причиненные войной, как глубоко постигал он страдания людей. Острога этих переживаний усугублялась тем, что сын его находился на фронте — он был врачом полевого госпиталя. Нетрудно догадаться, что именно он послужил прототипом Нодара — героя «Правдивых новелл».

Центральной фигурой рассказа «Жизнь начинается сначала» является также врач — Баака Миндели. Этот образованный, благородный человек легко находит общий язык с людьми различных национальностей и профессий. Впервые попав на фронт, он быстро подружился со своим коллегой украинцем Кузенко. Дружба их, правда, оказалась кратковременной, так как весь персонал медсанбата был взят фашистами в плен.

В плену Баака подружился с еврейской Саррой. Он спас ее от расстрела. Сарра, в свою очередь, рискуя жизнью, помогает Бааке бежать из лагеря. Бежавший из плена Баака в дурную чий мороз укрылся в дремучем лесу. И тут наткнулся на замерзшую женщину с ребенком, которого она завернула в свою одежду. Миндели берет этого ребенка с собой. «Если суждено погибнуть — погибну с этой сиротой».

Обессиленного от холода и голода, уже потерявшего сознание Бааку спасли от верной гибели словацкие партизаны. Придя в себя, он увидел, что находится в каком-то довольно большом помещении. Посередине горел огонь, возле которого сидели два человека. Один из них неотрывно смотрел на лежащего в углу на соломе Бааку. В помещении было тепло и тихо. Баака был укрыт овечьими шкурами. Он хотел приподняться, но вдруг коснулся ногой какого-то теплого предмета. Вначале Миндели изумился, а потом вспомнил о найденном в лесу ребенке. Он лежал у его ног, обхватив ручонками ногу, и спал.

С большой симпатией пишет автор о командире партизанского отряда Тимо Кашубе и его товарищах. До войны он работал машинистом. Став партизаном, спокойный и любящий свое дело Тимо совершенно преобразился. Стал отважным, готовым на риск человеком.

Писатель дает возможность проследить за духовным ростом Миндели. Мы знакомимся с ним до войны, и тогда нас привлекает в нем — еще неопытном враче — добросовестность, любовь к семье и работе. А затем нам импонирует на фронте его смелость, в период пребывания в плену — находчивость и самоотверженность. Кое-что о нем мы узнаем из его же рассказов: «Медсанбат попал под бомбежку. В это время я делал сложную операцию тяжелораненому лейтенанту. У меня остались один-единственный санитар. Остальные устремились в наскоро сооруженное бомбоубежище. В адском грохоте я не прекращал операции. Как только я кончил ее, одна половина дома рухнула. Я и санитар уложили раненого на носилки и решили отнести его в укрытие. Осторожно вышли наружу. Когда до укрытия оставалось всего несколько шагов, в глаз мне попал осколок снаряда». Миндели чудом спасся от смерти, но потерял зрение.

Порой писатель создает несколько надуманные коллизии в рассказе, которые ступевают действительные, подлинно гуманистические взаимоотношения Миндели с людьми. Неприятный осадок оставляет, например, спор из-за ребенка. Наверное, не надо было

так осложнять ситуацию. Миндели не должен был проявлять такого упрямства, когда нашелся отец ребенка. В этой ситуации он проявил себя эгоистом.

Еще более четко боевое содружество посланцев разных уголков нашей Родины отобразено в большом рассказе Раждена Гветадзе «Правдивые новеллы». Их главный герой — врач Нодар. Все его действия так или иначе связаны с людьми разных национальностей. Одно из главных действующих лиц рассказа подчиненный Нодара — санитар Коренко.

Полк, в котором служит Нодар, старается сдержать наступление врага. Нодар с командного пункта руководит эвакуацией раненых. Речков сообщает ему по телефону о тяжелом положении, создавшемся на переднем крае, о том, что все санитары вышли из строя. Тогда Нодар немедленно принимает решение. Он и Коренко отправляются выносить раненых с переднего края.

Не выдержав натиска врага, полк стал отступать. Позже всех покидает позиции Нодар. Отступающий полк должен перейти Днепр. Тут Нодар встречает Коренко, которому снарядом оторвало руку. Нодар сажает его в последнюю лодку, на которой бойцы переправлялись на другой берег. Нодар уступил свое место в лодке русской девушке, бежавшей из занятой немцами деревни. А сам стал на коне вброд переходить реку. Конь утонул. Нодар чудом выбрался на берег. Измученный и обессиленный, лежит он на берегу. Его разыскивает девушка. Впоследствии она сама спасет Нодара от смерти.

Отрядом, в котором находился Нодар, командовал Петр Радумцев. Нельзя без волнения читать эпизод боя, в котором погиб командир, ту ярость и ненависть, охватившие Нодара, когда он увидел сраженного наповал боевого товарища. Он снял с Петра автомат и, выйдя из укрытия, под свист пуль, повел отряд в атаку.

Один из самых значительных эпизодов в «Правдивых новеллах» — это эпизод о приключениях трех друзей-офицеров: Нодара, Алеко Кикидзе и Клушко-Каминского, Нодар заблудил, и двое друзей всю дорогу несли его на руках. Они кое-как дотащили его до какой-то хибары. В ней жили старые люди. Они радушно встретили друзей и много усилий приложили к тому, чтобы вылечить Нодара. Но вскоре у друзей закрадывается сомнение, не предатель ли старик-хозяин. Действия его вызывают подозрения, а поблизости возле деревни немцы. Но старик рассеял все их сомнения, показав им шапку, которую подарил ему Кикидзе в первую мировую войну. Еще больше удивились они, увидев приколотый к его сорочке орден Красного Знамени. Этой деталью писатель напомнил о традициях боевого содружества, которые были заложены еще со времен первой мировой и гражданской войн.

С большой симпатией в рассказе обрисованы образы двух товарищей — Демченко и Соловьева. Суровая фронтовая жизнь, святой воинский долг накрепко связали этих очень разных людей. С душевной болью описывает автор гибель Соловьева и скорбь Демченко.

В новеллах Р. Гветадзе реалистично раскрыта человеконенавистническая природа фашизма. В этом аспекте интереса заслуживает новелла «Ледяная статуя». Ужасная казнь, которой подверглась ее героиня Василиса, не может никого оставить равнодушным.

В пору тяжких испытаний, какими были годы Великой Отечественной войны, проявлялись лучшие черты советских людей, какой бы национальности они ни были. Особенно ярко это видно на примере их боевого содружества, которое не могло не взволновать и писателей. В этой статье мы коснулись именно данного аспекта в разработке военной темы, взяв за основу творчество трех грузинских прозаиков.



„МНЕ В ЭТОМ КРАЕ ВСЁ ЗНАКОМО“...

Н. С. Тихонов о Грузии

22 августа 1924 года в газете «Заря Востока» было напечатано сообщение о приезде в Тбилиси поэтов Н. Тихонова и Е. Полонской и о предполагающемся литературном вечере с их участием.

Однако обещанное выступление перед тбилисской аудиторией не состоялось.

В Ереване, куда Тихонов уехал на несколько дней, армянские друзья убедили его в том, что в Тбилиси, где продолжались контрреволюционные выступления меньшевиков, где именно в эти дни в некоторых районах они ненадолго захватили власть в свои руки, обстановка, далеко не располагающая к стихам и литературным вечерам. И Тихонов задержался в Ереване и был, естественно, уверен, что творческий вечер его не состоялся. Вернувшись, однако, в Тбилиси, он узнал, что его тбилисских друзей не смутила сложность политической обстановки, ни даже отсутствие самого виновника торжества, и они с успехом провели вечер, на котором паузы между чтением тихоновских стихов «заполнял духовой оркестр»¹.

В беседе с доцентом В. И. Балуашвили Н. С. Тихонов отмечал существование двух периодов в своем общении с Грузией. Первый, «закрытый», по собственному определению Николая Семеновича, «был вначале», когда писатель «бродил по стране и узнавал Грузию, но еще не знал как следует людей».

«Второй, «открытый» период, — рассказывает далее Тихонов, — наступил после того, как я познакомился с грузинским народом, с грузинской интеллигенцией, когда у меня началось с ними дружеское общение»².

Первый период продолжался примерно с 1924 по 1933 год. Не следует, разумеется, понимать это разделение буквально. Даже в первый свой приезд, когда Тихонов общался преимущественно с русскими литераторами, «закрытым» первый период можно назвать лишь условно.

В 1924 году в кабинете помощника секретаря Закрайкома Петра Андреевича Павленко, с которым судьба свела его в Тбилиси, Николаю Семеновичу приходилось наблюдать представителей всех племен Кавказа. «Бурки, газыри, башлыки окружали меня, — вспоминает Н. С. Тихонов. — Я был жаден до разговоров с этими коренными жителями страны, которые рассказывали мне о своих горных делах, о своих селениях за облаками, о своей сложной жизни...

Тут бывали железнодорожники, шахтеры, пастухи, виноделы, хлопководы, охотники, учителя, студенты, художники, писатели. В этом живописном

¹ В. И. Балуашвили. Тихонов и Грузия. В сб.: «Творчество Николая Тихонова», Л., 1973, стр. 233 — 234.

² Там же.

мире можно было послушаться самых причудливых историй, самых драматических случаев — всего, чем была богата жизнь в Закавказье в то время.

И хотя с грузинской интеллигенцией тесные контакты установились у Тихонова лишь много лет спустя, общение с грузинским народом, как следует из вышеприведенного отрывка, начиналось с первых же дней знакомства с Грузией.

С Тбилиси связано у Тихонова воспоминание о незабываемой встрече с С. Есениным.

«...Нас разделял только маленький столик тифлисского духана, — писал Тихонов год спустя после последней встречи своей с Есениным и спустя три дня после трагической гибели его. — Белое «напареули» кипело в стакане. Мы сидели за столиком один на один и разговаривали стихами... Воздух был пропитан теплотой вина и лета.

...Он говорил стихи так, точно, кроме этих связанных голосом слов, ничего нет в мире»⁴.

И хотя запись эта, к сожалению, предельно скупа, подсказанные щедрой памятью детали воссоздают один из безмятежных дней, проведенных Тихоновым в Тбилиси в обществе «вечного странника, пьяного от песен и жизни», в обществе «кудрявого путаника и мятежника»⁵, воссоздают атмосферу тепла, доности, безмерной влюбленности в стихи, в которую окунулся Тихонов в «этом благословенном городе юга»⁶.

«Откровением» среди многих дружеских бесед и свиданий была для Николая Семеновича встреча в Тбилиси с Петром Андреевичем Павленко.

«После окончания приема (в Закрайкоме. — М. Х.) мы с Петром Андреевичем, — вспоминает Тихонов, — направлялись вместе в продолжительные странствия. Мы бродили по всему городу, поднимались к Нарикале, посещали Ботанический сад. Тогда было положено основание тем беседам, которые мы вели всю жизнь, то в самых обычных, то в самых невероятных... местах нашей земли»⁷.

В Тбилиси познакомился Н. С. Тихонов со многими начинающими писателями-тбилисцами. Один из них — М. Юрин в своей книге воспоминаний «Записки подававшего надежды» оставил нам портретно-психологическую зарисовку молодого Тихонова, в которой автору удалось схватить самое главное во внешности и характере Николая Семеновича — впечатление собранности и бодрости, силы и уверенности, которые исходили от него: «Худощавый, жилистый, энергичное лицо и длинные сухие руки. На нем была белая холщовая без пояса рубашка, которую южный ветер трепал во все стороны. Запыленная, выжженная солнцем кепка торчала козырьком вверх и еле держалась на самой макушке. Узкое, продолговатое, с калмыцкими скулами лицо было свежо и бодро. Мускулистая и слегка сутуловатая фигура, длинные, сухие, и, как мне показалось, немного кривые ноги обличали цепкого кавалериста, недавно только покинувшего седло.

...Он производил впечатление человека нездешнего, казалось, это храбрый кавалерист, который только на минутку отстал от своего отряда, чтобы понаблюдать за празднующейся городской толпой»⁸.

В первый свой приезд Тихонов пробыл в Тбилиси очень недолго — всего несколько дней. Отсюда он совершил путешествие в Армению, а вернувшись оттуда, «начал собираться в обратный путь на Север». Тихонов увозил с собой заинтересованность людьми, искреннюю привязанность и любовь к «смешному» городу и невысказанное подспудное стремление вновь сюда вернуться.

По совету П. А. Павленко Николай Семенович решил «проехать» до Владикавказа по Военно-Грузинской дороге, и поэтическим результатом этого путешествия явилась поэма «Дорога». Этот своеобразный путевой дневник, своеобразный «бессюжетный лиро-эпический сплав», в котором отразилось не только то, что могло быть и было увидено зорким взглядом наблюдателя в Грузии 20-х годов, но и то, что было глубоко пережито, прочувствовано и осмыслено автором.

³ Н. С. Тихонов. Двойная радуга. «Советский писатель», М., 1969, стр. 58

⁴ Н. С. Тихонов. Из встреч с Есениным. «Красная газета», вечерн. выпуск, 1925, № 316, 31 декабря.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Н. С. Тихонов. Двойная радуга. «Советский писатель», М., 1969, стр. 58.

⁸ М. Юрин. Записки подававшего надежды. ОГИЗ, «Молодая гвардия», 1931, стр. 29.

Поэма эта — одно из первых произведений, отразивших сложную действительность послереволюционной Грузии со всем ее драматизмом, со столкновениями нового со старым, со всеми ее противоречиями и контрастами, зарисованными острым темпераментным карандашом. Странствование ЗАГЭСа на Куре, приобщение отсталых уголков горной Грузии к жизни Советской страны, Хевсуретия с ее наболевшими проблемами, сложная политическая обстановка в Осетии, Пасанаури, Тбилиси с его живописными контрастами — все оказывается в поле зрения наблюдательного путешественника.

Однако сложная реальность еще более усложнилась авторским видением, воплощаясь подчас в тщательно зашифрованную словесно-образную форму, которую никак не объяснить, разумеется, всего лишь сложностью и своеобразием самого материала, тем более что сам Тихонов отнюдь не скрывал, что, создавая столь сложное строение с остраненными образами, с прихотливым размером, изломанным ритмом, с затрудненным прозаизированным синтаксисом, он следовал определенным принципам, определенной поэтической установке.

**Запутав, швыряю эти строки
Любителям на шею,**

— с лозунговой откровенностью признавался он в поэме в нарочитости своих экспериментов. Намеренная усложненность поэмы была обусловлена в первую очередь тем, что создавалась она сразу же вслед и одновременно со стихотворениями, которые впоследствии составили поэтический цикл «Поиски героя» (изданный почти одновременно с поэмой «Дорога» в 1927 году), то есть в конце первой половины 20-х годов, в период ломки поэтического голоса Тихонова, в период, когда с особенной остротой ощутил он необходимость самоопределиться, когда особенно интенсивны стали его поиски в области формы, новых образных и композиционных средств, новых размеров, новой поэтической интонации, нового героя и новой темы.

«Грузинская» поэма Тихонова «Дорога» представляет большой интерес для исследователя творчества поэта, как произведение, наиболее ярко отразившее своеобразие и требования определенной эпохи, индивидуальные особенности писательского дарования, неповторимость и сложность творческого пути и творческих поисков Тихонова.

«В поисках новых путей, вернее нового направления пути, — написаны поэмы 1924 года «Красные на Араксе», «Шахматы», «Дорога», поэмы вздыбившейся формы, итогов самопроверки»⁹, — справедливо писала критик Евг. Книпович

Образная, синтаксическая, интонационная и смысловая сложность, которой переболел Тихонов в середине 20-х годов, была замечена всеми критиками, ревниво следившими за творческими поисками любимого поэта.

Но тихоновскую поэму, да и всякое художественное произведение нужно рассматривать не изолированно, но в общем ряду со всеми литературными явлениями времени, в различных связях, в соотношениях, которые подобно параллелям и меридианам пересекают сферу личного и творческого бытия каждого художника.

И действительно, рассмотренные на фоне словесной эквилибристики имажинистов, на фоне загустившей под Есенина подражательной поэзии, на фоне певучего и уже беспочвенного символизма, лозунговой парадности поэзии пролеткульта и «Кузницы» трудные стихи Тихонова приятно удивляли бодрым тоном, энергической поступью стиха, которые, как изначально тихоновские свойства, пробивались сквозь все иронические заслоны, сквозь искусственно скованный строй, сквозь неровности ритма.

Тихоновские стихи были принципиально новы, вызывающе непевучи, нестройны. Но угловатая тяжеловесность их заставляла читать строки чуть ли не по складам, и тогда-то в них вспыхивал свет: они оказывались тесно населенными, насыщенными, многосмысленными.

* * *

Мир, изображенный Тихоновым в «Дороге», «по-тихоновски» свеж и оригинален. И хотя Военно-Грузинская дорога, одна из самых живописных и фантастических дорог из всех, когда-либо и где-либо пройденных поэтом, была литературно давно «обжита», населена образами, мастерство и оригинальность тихоновского видения проявились именно в том, что он со щепетильно-

⁹ Евг. Книпович. Проза Н. С. Тихонова. «Красная новь», 1935, №8, стр. 185 — 192.

стью подлинного художника, сторонясь всего, что успело стать штампом, прокладывая свою собственную, «тихоновскую» Военно-Грузинскую дорогу, которую ни с какой иной не спутаешь.

Нельзя не вспомнить, что почти одновременно с ним, буквально два-три дня после его отъезда — в ночь на 29 августа 1924 года, самой дороге, какой покидал Грузию Тихонов, через Кавказский хребет приехал в Тбилиси Владимир Маяковский. 30 августа 1924 года в № 664 тифлисской газеты «Заря Востока» сообщалось, что «вчера, 29 августа, в Тифлис из Новороссийска приехал поэт Вл. Маяковский».

3 сентября того же года в № 667 газеты было опубликовано его стихотворение «Владикавказ — Тифлис», отразившее непосредственные впечатления поэта от путешествия, поэтические размышления его и настроения тех лет, и к уже существующим многочисленным поэтическим и прозаическим посвящениям знаменитой дороге добавил еще одно.

В том же году приступил к работе над своей «грузинской» поэмой Н. С. Тихонов.

Читая тихоновскую «Дорогу», невольно попадаешь в плен идейно-смысловых и образных параллелей, которые ведут вас к признанию глубинного родства двух столь разных по жанрово-стилистически-композиционным признакам произведений. В поэме без труда улавливается созвучие тихоновского настроения настрою Маяковского, хотя бы в том, как снижает Тихонов материал, с какой трезвой заданностью иронизирует над величественным зрелищем взбунтовавшейся земной коры, как без робости и сожаления снимает романтические краски и романтический наряд, в котором издавна привыкли мы воспринимать Кавказ.

И все-таки, несмотря на заметную «переключку» с Маяковским, это была тихоновская «Дорога», тихоновский «Кавказ», оживший и определенный тихоновски «снайперски точной» метафорой, по-тихоновски чувственным, уплотненным стилем, тихоновской интонацией, тихоновским желанием по-новому рассказать о старом пути, поэтически освоенном еще Пушкиным и Лермонтовым. В чем же своеобразие тихоновского видения? Он обыкновенно или замалчивал обязательные аксессуары кавказской романтики, или же заметно, на несколько тонов снижал их звучание, приглушал, мельчил придирчивостью, ироническим, скептическим к ним отношением, а чаще просто заслонял их, выдвигая на первый план более современные и актуальные темы, оживляя картины образами людей, будничными деталями, наиболее важными для воссоздания реальной атмосферы тех лет. Ироническое настроение Тихонова особенно явственно сказалось в главе «Укрощенный Терек, Храбрый Хадзимет, Каменный патруль и непочтительное отношение к древности». Само заглавие довольно ясно очерчивало характер тихоновской установки, в основе которой лежит «снятие» удивления восторга, деловой, трезвый взгляд на мир.

«Укрощен» — упрощен Терек с его «громом дешевым», изображенный без традиционной грибы на хребте; иронизирует Тихонов над гордой горной птицей, над орлом, «анкета» которой кажется ему «не велика и неуклюжа»; величественный Казбек «в гранитной бурке» оборачивается просто неграмотным патрулем, с которым не удается автору завязать даже «документальный» разговор.

Небрежным тоном сообщает Тихонов о «стенах рваных», о «хладном ворчанье» воды в Дарьяльском ущелье, иронизирует над развалинами замка царицы Тамар.

Лишены традиционного величия и «граждане камней», хевсурь. Осетия — просто нищая страна; а желтую Куру, которую поэт спустя много лет будет вспоминать проникновенными словами, в поэме режут без ножа, чтоб превратить «свирепую», «вопящую» реку в «робкую Куру», оседлав ее и заставив плясать ее воды по расписанию.

Полемическим задором, нежеланием идти проторенными путями и приверженностью к определенной установке объясняется, очевидно, то, что в местечке Пасанаури вместо исторического памятника XVII столетия — Анапурской крепости, удивительно пластичной и оригинальной архитектуры, которая могла увлечь интерес поэта в сторону исторического прошлого, Тихонов увидал и описал «матрацы из пакли» на «жидких галереях», «мохнатых кур», «перины», медвежонка с выгоревшей шкуркой, увеселяющего проезжающих во дворе пасанаурского духана, — словом, весь арсенал выразительных деталей призванных проиллюстрировать с укоризной брошенный упрек автора:

Ты — мещанин Пасанаур,
Забывший паспорт обменять.
(т. II, стр. 135)

Так «носил» Тихонов Пасанаури, восприняв местечко без исторического «шлейфа», который непременно заставил бы автора взойти на те стилистические ходули, на которые он принципиально не хотел становиться; заставил же его отступить от тех позиций, от той установки, которая требовала в первую очередь иронического развенчания «старья», всего, что корнями уходило в прошлое и каким-либо образом могло помешать утверждению нового на земле.

В «непочтительном отношении к древности» Н. С. Тихонова, в полемически упрямом нежелании увлекаться героическим прошлым, восхищаться величием природы, несомненно, сказывалась общая установка времени, эпохи, литературы тех лет. Об этом же свидетельствовала «переключка» с Маяковским и другими поэтами 20-х годов.

Упиваться и любоваться красотой природы было свойственно дореволюционной литературе, следовательно, нужно было выработать новую систему воззрений на природу и на свое отношение к ней.

Так своеобразно в бунте искусства, в частности поэзии, против устоявшихся вкусов, мнений, шаблонов сказывалось нетерпимое отношение всего молодого советского общества ко всему, что утвердилось в прошлом и стало нормой.

При всей невозможности принимать и соглашаться полностью с модной в 20-е годы установкой следует, разумеется, учесть, что в то далекое время, когда мобилизующая, направляющая сила и значение литературы неизменно возросли, упивание красотой природы могло звучать анахронизмом. Причем в чрезмерно суровом тоне, каким иногда требовали, например, «срыть» Казбек, слышалось не совсем лишнее здравого смысла опасение, что провалы, хребты, ущелья, горы неправдоподобной красоты могли сослужить и роль своеобразного естественного барьера, который способен лишь затруднить, замедлить процесс проникновения в высокогорный замкнутый мир веяний новой эпохи.

Вот эта самая система взглядов, определенная идейно-эстетическая установка, которая, как мы пытались показать, находится в прямой зависимости от времени, исторически обусловлена целым рядом причин, лежит в основе поэмы Тихонова.

Она довольно четко сформулирована в последней главе поэмы, в диалоге автора с осенью, который, кстати сказать, совершенно лишен иронического подтекста и переключен в высокий лирико-философский план.

Тихонов ратует за необходимость социалистических преобразований, за необходимость решительной борьбы со всяким и всяческим старьем, с душным бытом, с нищетой, неустроенностью жизни, с неустроенностью дорог; в жертву этой борьбе против «духоты» без колебаний приносится вся пресловутая экзотика; земля представляется автору величайшим аукционом, над которым встает туман промотавшихся «имен, обычаев, знамен». Осень, которая без сожаления разбазаривает на ветер леса, увидевшее старье листьев, становится своеобразным символом постоянного обновления жизни, и ее устами декларирует Тихонов глубоко философскую мысль о том, что любое становление, любая победа нового предполагает и предусматривает расставание с чем-то старым, привычным, иногда дорогим. Осень расстается с засохшим ворохом листьев во имя будущего весеннего обновления, земля, для того чтобы возродиться, должна очиститься — расстаться со старыми «именами, обычаями, знаменами».

Бескомпромиссно и сурово звучит монолог осени.

Однако следует отметить, что не столь суров и не столь бескомпромиссен сам Тихонов — его отношение к вопросу сложнее. Если осени не жаль своих листьев, не жаль вороха звезд, не жаль прошлого и романтически-возвышенного отношения к жизни, то Тихонову «не жалко жалости». Об этом говорит довольно сдержанный и уклончивый ответ его осени и бережное отношение к своим воспоминаниям. Как драгоценный дар Кавказа увозит поэт с собой воспоминания о девочке-осетинке такой, «как встретил поутру», воспоминания о ее «лохмотьях», о хевсурском медвежонке и о своей ночной беседе с ним. Словом, все то, что лирически обогатило его.

Об этом же говорит тот факт, что Тихонов в своем отрицании, в своей иронии, в своем желании развенчать традиционное не очень последователен.

Особенно часты у него «срывы» из иронического повествования в лирику. Насквозь лирична, например, глава «Об одной маленькой девочке в Осетии и о больших дорогах вообще». И последняя глава под примечательным заголовком, несущим в себе ироническое признание в том, что, «когда кончатся горы, начинается степь, автор скромно впадает в лирику»:

Вот едем низиной, все глубже, все туже,
Степной ударяет уют,

Я вижу, как люди садятся за ужин,
В сараях коровы жуют.
И свечи нарастают жира,
Шипя, обростают пристойно,
А я по негнущимся лестницам мира
Считаюсь котом беспокойным.
И с мышью вчерашней и с завтрашней
мышью
Я в ссоре, и ссора не знает затишья,
(т. II, стр. 147)

— сдержано признавался Тихонов в своих сокровенных привязанностях, в самых тайных движениях души, в самых важных раздумьях о своей судьбе, о своем сложном отношении к миру.

Реже сквозь иронию прорывается романтически приподнятая интонация, и тогда в округлости и угловатости плотно пригнанных слов, в упругом ритме слышится «железная» поступь знаменитых тихоновских баллад.

Гневно-бурливы строки, повествуящие о неуловимом разбойнике Чоложаеве, бывшем князе, крупном помещике, который в годы революции занялся грабежом и без того обнищавшей страны.

И хотя начинается глава с иронического сравнения горы Адай-Хох с «ледяным орехом» и столь же иронически-угрожающего предостережения, что в «потоке и лед иной», Тихонов резко переключает повествование из иронической тональности в обличительную, и стихи насыщаются гражданским пафосом, негодующей ненавистью к врагу народа.

Кованый ритм, великолепно аллитерированные строки, в которых клокочет ненависть, своим пафосом выпадают из общей иронической заданности поэмы.

Эта «непоследовательность» Тихонова, постоянные интонационные переключения из романтического в обличительный, из лирического в иронический планы, кроме того, что создавали богатую нюансировку, богато инструментированный строй в поэме, говорили о том, что ее автор, преодолевая давление старой литературной традиции, стремясь создать принципиально новое отношение к кавказскому материалу, пытаясь развенчать иронической усмешкой традиционную экзотику, на практике убеждался, что пестрота быта, великолепие кавказской природы, роски новой жизни не укладывались в одноплановое изображение и требовали многокрасочного, многотонального повествования.

Поэтическая установка ограничивала, сковывала, заставляла Тихонова прийти к неверному выводу о том, что он «равнинный мастер» и ему «странной заоблачной не править».

Тихонов запрещал себе, не разрешал проявлять естественные, органичные для себя эмоции, потому что они шли вразрез с его поэтической установкой. Позже он посвятит Кавказским горам целый поэтический цикл «Горы», отдаст им дань и в других «грузинских» циклах; в повести «Кялята в тумане», в бесчисленных высказываниях и в книге воспоминаний «Двойная радуга» скажутся истинные склонности, вкусы, пристрастия, редкая в северном человеке привязанность к вершинам.

В книге воспоминаний «Двойная радуга», в главе «Люди больших высот», Тихонов рассказал об удивительном случае влюбленности в горы. Это поэтическая история о человеке, который каждый год совершал паломничество к Кавказским горам, «взбирался на Латпарский перевал, обыкновенно к вечеру, садился на траву и начинал переживать вечернюю симфонию гор». «Мой знакомый, — рассказывает Тихонов, — наблюдал с содроганием сердца, как играет огромный мир горного заката, и горы звучат, как гигантский хорал, слынный только посвященному, потом все переходит в безумную ночь. Утром, насладившись всеми богатствами горной зари, путник отправлялся в обратный путь в Москву».

Даже если не забывать о том, что Тихонов рассказывает эту удивительную историю не о себе, все равно нет особой надобности доказывать, что человек, разделяющий это восторженное поклонение, сам непременно испытывший нечто подобное, причастившийся к «симфонии гор», не мог остаться равнодушным при первом свидании с Кавказским хребтом, как пытался убедить в том поэт себя и читателя в поэме «Дорога».

Конечно же, Тихонова не могло не увлечь и увлекло зрелище гор, первозданность природы, однако не до такой степени, чтоб не замечать жителей гор, не скорбеть о тяжелой их участи и не мечтать об иной, лучшей доле для них.

Именно поэтому героем поэмы становится не сам Кавказ, а люди Кавказа, не Казбек, «пересыпанный почтенным снегом», и не буйствующий Терек, а семилетняя девочка-осетинка, судьба которой живо трогает Тихонова. Он мягко, нежно привлекает ее в свое повествование, словно обнимая ее за детские хрупкие плечи, и маленькая озорная пастушка становится самым значимым, самым задушевным образом поэмы.

В другой главе поэт рассказал о героях гражданской войны в Дигории Симоне Таковие и народном мстителе Хадзимете Рамонове, давшем слово, что он убьет Сосланбека Бигаева, свирепого начальника белого карательного отряда. И храбрый Хадзимет сдержал слово, однако в бою погиб и сам.

В наступательном, энергичном, боевом ритме ведет свой рассказ о героях горцах Тихонов.

Не случайно именно в этой главе особенно резко ополчился автор против Терка и орла, против Казбека и замка царицы Тамар, и на фоне развенчанного природного великолепия вытягивались ввысь, становясь крупнее и значительнее, фигуры борцов за свободу, о которых с такой увлеченностью поведал поэт, ничуть не пытаясь умалить или скрыть свой восторг, свое восхищение людьми.

Итак, непременным условием поэтической установки Тихонова следует считать не только и не столько ироническое развенчание отжившего, сколько преувеличенный всепоглощающий интерес ко всему, что несла с собой новая жизнь, в особенности же — захватывающее целиком — пристальное внимание к человеку — строителю нового, социалистического общества.

Во второй главе автор проезжает Мцхета. Напрасно станете вы искать среди записей-воспоминаний упоминание о Крестовом монастыре (Джварис сақдари), откуда бежал некогда лермонтовский Мцыри, или о Светицховели и других достопримечательностях, которыми так богата древняя столица Грузии.

Глаз Тихонова замечает и привлекает в качестве материала для своей поэмы новые достопримечательности Мцхета — увлеченно рассказывает он об оживленной строительной суете в Земо-Авчала, где по великому ленинскому плану электрификации страны возводится мощная гидроэлектростанция на Куре — ЗАГЭС.

«На работах заняты 1500 человек. Здесь можно встретить и послушников, убежавших из монастырей и сбросивших монашескую одежду» (т. II, стр. 131), — рассказывает Тихонов в примечании, и вы лишний раз убеждаетесь, что сила и обаяние поэтического голоса поэта — в интересе к человеку и современности. Самый стертый, обветшалый материал — образы послушников и монашескую ясыу — Тихонов заставляет звучать по-новому, извлекая из них неожиданные возможности, ставит их на службу современности. Не говоря уже о том, что монахи, мелькающие среди строителей ЗАГЭСа, оживляют картину, делают ее зримой, и художественная ценность их несомненна, они несут еще более глубокую смысловую нагрузку.

— Какова же сила и мощь социалистического строительства, — направляют они читательскую мысль в нужное русло, — если даже монахи-отшельники, сбросив подрясники и закатав рукава, втянулись в него.

Уместно будет вспомнить, что в начале 20-х годов тема строительства Земо-Авчальской гидроэлектростанции была одной из самых излюбленных и популярных тем среди русских и грузинских писателей и поэтов. Причем мало кто из пишущих о ЗАГЭСе смог не сблизиться благодатной параллелью, которая сама напрашивалась в рукопись каждому — Крестовый монастырь, высокомерно озирающий простор долины, и грохочущая электростанция, олицетворяющие величие и мощь средневековья и невиданный размах «современья»; мало кто не вспомнил легендарного Мцыри, вступившего в единоборство с природой и людьми во имя воли.

На этом фоне еще ярче, еще дерзостнее и удачнее покажется художественный прием Тихонова, заставивший Мцыри оставить «подрясник на белых страницах» и «выйти в долину», чтоб принять участие в яростном бое со стихией. В шуме и грохоте стройки, «где доблесть заново свежа», где люди вступили в единоборство с рекой, Мцыри чувствует себя у места.

Таким бунтующим, мятежным, «ломающим правила» мы знали Мцыри по лермонтовской поэме, таким же предстал он у Тихонова, ничуть не удивив читателя своим появлением среди строителей ЗАГЭСа.

Стремление населить поэму людьми чувствуется и в первой главе поэмы, посвященной Тифлису, однако удается это Тихонову менее. Не отдельные лица и фигуры тбилисцев, не образы конкретных людей, а скорее общее лицо, общее выражение, общий облик города удалось схватить Тихонову в первой своей поездке. Правда, портрет, зарисованный поэтом, был несколько уп-

рощенным. Основу его составили видимые простым глазом наблюдателя контрасты и противоречия, которые нашли выражение в формулировке о «двойной душе» Тифлиса. Формула эта, с своей стороны, отразила некоторую условность, разорванность тихоновского восприятия. И хотя единое большое впечатление Тбилиси постиг Тихонов позднее, «двойная душа» города полюбилась ему сразу. В письме к М. Юрину, написанном вскоре после отъезда, он настоятельно просил своего юного друга писать о Тбилиси: «Я его очень полюбил»¹⁰, — признавался он в любви к «смешному» городу, как признаются в любви к живому близкому существу.

Привязанность Тихонова к Тбилиси выдержала испытание временем. Начиная с «Дороги», поэт постоянно возвращался к тбилисской теме, воспел его в «Грузинской весне», «Цхнетских вечерах», в статье «Пять городов», во многих поздних стихах, как бы накапливая нужное количество наблюдений, набросков, карандашных зарисовок для создания яркого цельного полотна в красках, каким, по нашему мнению, можно считать портрет города в «Двойной радуге», уже не с загадочной «двойной», а с единой душой, живой и близкой, удовлетненной, наконец, в словесные тенета.

«Тбилиси тысяча девяťсот двадцать четвертого (1924) года был для меня откровением, — читаем у Тихонова. — Я впервые в жизни видел такой волшебный город. Каждый день я находил в нем новое, неизвестное мне. Меня поражало и волновало все: мчащиеся непрерывно волны желтой Куры, густая, бархатная тень старых садов, помнивших Грибоедова и Пушкина, чудеса серных бань, развалины древней крепости над городом, Харпухи со своей седой старинной, где, казалось, стены умеют петь древние песни, Мтацминда с торжественным молчанием зеленого Пантеона, узкие улочки, таинственно убагающие в гору и манящие неизвестными приключениями. Майдан, где важно лежат верблюды только что прибывшего каравана, огоньки в подвалах, где пьют вино, какого на севере не достанешь, девушки, лежащие на окнах в нагорных улицах, повторяя шекспировскую Джульетту, обвив своими косами плечи юношей, стоящих под окном, глухой рокот толпы под могучей листвой полусонных деревьев на Головинском проспекте и воздух, полный теплого, одуряющего аромата неизвестных цветов»¹¹.

Как явствует из слов самого Тихонова, основой к самой поздней зарисовке послужило первое впечатление от города, правда, заметно обогащенное многолетним общением, знакомством с людьми, с историей, культурой, поэзией Грузии, почти породнившимися его с грузинским народом.

В стихотворениях о Тбилиси («А сколько, Тбилиси, тебя воспевало...»), «Что там ни говори», «Срез стены Кошуети», «Моему другу» и многих других) можно проследить, как усложнялись у Тихонова отношения с городом, как сдержаннее и глубже, искреннее и задушевнее становилось их взаимообщение.

Однако в первый свой приезд он не сумел полностью преодолеть давление «экзотики», и в его зарисовке обилие колоритных сцен и картин из старого быта перевешивало, хотя поэт старательно уравнивал «атрибуты старого» с «ростками нового».

«Тифлис — странный город, — писал Тихонов в набросках поэмы. — На его улицах можно одновременно увидеть тысячеголовое стадо овец и великодушный гоночный автомобиль, рваный халат кочевника с доисторическими вышивками и парижский туалет. Идут бараны и щелкают бичи под музыку трамваев»¹².

Тифлис, а ты смешной,
Ты прошлым обезличен,

(т. II, стр. 130)

— поспешил с выводом поэт.

Цирюльники, рвущие бороды, ослы, нагруженные хурджунами, горбатые улицы, запотевшие стаканы в чайхане, полосатый халат татарина, косьвший из-за угла — вот что бросилось в глаза. А город, увлекаясь своей простотой, предлагал все новые и новые богатства удивленному взору приезжего.

Однако за первым рассеянным взглядом наблюдателя последовал другой, и, спокойнее взглянув на город, Тихонов понял, что город «богаче и ловчей», потому что в ответ на насмешливую иронию гостя он повел в наступление не столь броскую «экзотику» нового быта: алый галстук пионера, пятиугольную

¹⁰ М. Юрин. Записки подававшего надежды, ОГИЗ, 1931, стр. 32.

¹¹ Н. Тихонов. Двойная радуга. Советский писатель, М., 1969, стр. 57.

¹² Архив ИРЛИ. Цит. по книге: В. Шошин, Н. Тихонов. М. — Л., 1960, стр. 44.

звезду, которая с разъяренной краснотой оседлала «старинный устой военной колокольни», «плакаты расписные», «газетный дождь», «резвящихся гогон павлинью походку» и многое другое. Все это убеждало в существовании «второго плана. «второй души», заметив которую, Тихонов проникся симпатией к нему, почувствовал к нему искреннее расположение и прощался с ним уже без единой усмешки, с серьезно-лирической интонацией, волнуясь, дыша чаще», потому что ощутил он себя «участником» всего происходящего в Тифлисе.

В критической литературе о поэме «Дорога» принято педалировать строки, в которых Тихонов говорит о себе:

Я лишь прохожий и пока
Шлохой свидетель, но свидетель.

(т. II, стр. 130)

И почему-то неоправданно замалчивается вышеприведенное признание поэта в том, что он почувствовал себя «участником тифлисской правды». Тем самым как бы игнорируется тот не очень заметный, но первый и потому значительный шаг в эволюции его отношения к городу, то переклечение в рамках одной главы из полуиронического, шуточного тона в серьезно-лирическую интонацию, которое говорило о том, что «прохожим», «свидетелем» Тихонов оставался слишком недолго, чтобы слова «соглядатай», «прохожий» и «свидетель» можно было отнести к поэту, если к тому же понимать их в буквальном, узком смысле и значении.

В одном из поздних стихотворений из «кахетинского» цикла — «Цинандалы», загрузив оттого, что он не может «поселиться» в этом благословенном крае навсегда, он вновь назовет себя «прохожим», хотя в середине 30-х годов Тихонов, без всякого сомнения, уже не чувствовал себя «прохожим» в Грузии. Ведь тогда не написались бы строки из стихотворения «Гомборы»:

Мне в этом крае все знакомо,
Как будто я родился здесь.

Не написались бы и многие другие стихи о дружбе, о признательности, о любви к Грузии и к ее людям, составившие целые поэтические циклы.

Не стал бы он с полемической запальчивостью высказываться об одной из основных проблем, волновавших в те годы не одни высокогорные районы Грузии, — о необходимости социалистических преобразований, коренной ломки в горных селениях, против всех и всяких теорий и теоретиков, под лозунгом сохранения колорита, чистоты нравов, первозданности человека и природы ратовавших за сохранение отсталости, нищеты, замкнутости народностей.

Словом, Н. С. Тихонов, с его страстной заинтересованностью в судьбах народов мира, не умел оставаться сторонним наблюдателем, безучастным свидетелем, даже когда к тому его вынуждали мимолетность встречи, невозможность тщательно понаблюдать, обстоятельно изучить быт, особенности и проблемы края и иронический настрой повествования.

Лучше, чем многие ревнители первозданной красоты, он мог оценить игру светотени от лучины в хевсурских замках, экзотику мостов над бездной, сборище колычуг вокруг пылающего бородатого огня, однако он же острее чувствовал, что

Года проходят около,
Хевсуров не толкая,

(т. II, стр. 138)

— что так не может и не должно продолжаться далее, и без колебаний, хотя, и не очень четко формулируя свою позицию, высказывался «за ветер против духоты», поняв и решив, следовательно, проблему так, как понимали и решали ее в Грузии люди, искренне обеспокоенные судьбой родного края.



В К Л А Д

ЛИТЕРАТУРОВЕДА

ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ГРУЗИНСКИХ СВЯЗЯХ М. ГОРЬКОГО

Поскольку расшифровка даже одного факта, одной детали, имеющих отношение к личности и творчеству великого писателя, всегда вызывает особый интерес в научном мире, я позволю себе столь подробно остановиться на новых сведениях, касающихся наиболее ранних и в то же время наиболее значительных разысканий в области грузинских связей Горького, которые принадлежат близкому к нему человеку, впоследствии известному советскому прозаику Михаилу Леонидовичу Слонимскому.

Начну с прототипа главного героя горьковского рассказа «Ошибка». В литературе о нем имеются лишь отдельные и весьма противоречивые сведения. Как известно, прототипом Кравцова послужил пламенный грузинский революционер и общественный деятель Григорий Алексеевич Читадзе. Примечательно и то, что Алексей Максимович помнил о нем на протяжении всей своей жизни. Видимо, этот повышенный интерес писателя к его личности объясняется исключительно сложной судьбой Читадзе, незаурядностью его личности, пламенным стремлением помочь угнетенным. И хотя все это считается признанным, в истории общественного развития Грузии ему все еще не отведено подобающего места. Личные контакты А. Пешкова и Г. Читадзе не вызывают сомнения. Они имели реальную возможность познакомиться и общаться еще до болезни Читадзе. В пользу такого утверждения свидетельствует и то обстоятельство, что Горький по приходе в Тбилиси сразу же оказался в кружке революционно настроенной молодежи, в которой Г. Чи-

тадзе играл руководящую роль.

После того, как в 1895 году Горький воспользовался впечатлениями, полученными от знакомства с Читадзе, для создания образа Кравцова, он вспомнил о нем уже в 1919 году и сообщил М. Л. Слонимскому: «Гиго Читадзе дал мне тему рассказа «Ошибка»¹. Тогда же был написан очерк «Гиго Читадзе», о чем речь пойдет ниже.

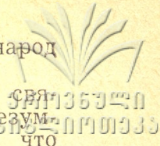
В 1926 году 28 ноября в письме И. Б. Галанту Горький указывал, что в молодости он действительно знал и Гиго Читадзе и что ему пришлось ухаживать за ним, когда тот был душевнобольным. «Сумасшедший, — писал он, — которого я действительно знал и с которым маялся, — этот герой моего рассказа «Ошибка» — Гиго Читадзе»². Через год уже в письме к И. А. Груздеву Алексей Максимович снова отмечает не только свое знакомство с Г. Читадзе, но и его болезнь³. А спустя еще 7 лет, вспоминая в письме к С. Я. Аллилуеву свои встречи с адресатом, Горький писал, что знаком с ним с 1892 года и теперь живо помнит эти встречи. «Вероятно, я кому-то говорил, — читаем в письме, — что в 1892 г. в Тифлисе я встречал Вас однажды у Гиго Читадзе, а затем у приятеля моего Федора Афанасева, слесаря»⁴. Так на протяжении всей жизни в памяти Горького сохранялся облик «пламенного пропагандиста», который

¹ Архив А. М. Горького. ХПГ—7—6—1.

² Там же. ПГ—рл—10—3—14.

³ См. Архив А. М. Горького. М., 1966, т. XI, стр. 125.

⁴ Архив А. М. Горького. ПГ—рл—1—2—1.



не давал ему покоя и после воплощения его в художественный образ.

Немаловажна также история написания и публикации очерка «Гиго Читадзе». Написан он был по просьбе М. Л. Слонимского. В литературе же о Горьком по этому вопросу царит страшный разброд. Дело дошло даже до явных недоразумений. В последнем академическом издании художественных произведений Горького этот очерк считается «материалом к рассказу «Ошибка»⁵, то «страницей из чернового наброска к рассказу»⁶.

На самом же деле очерк этот имеет самостоятельный характер и написан 24 года спустя после публикации «Ошибки». Да и сам текст очерка с момента его написания претерпел определенные изменения. Поэтому мы постараемся здесь проследить этапы работы Горького над ним, ибо в процессе этой работы еще раз проявляется не только исключительная требовательность писателя к себе как к художнику, но и к «фактам биографии», которые в данном случае составляют одну из наиболее интересных страниц его жизни в Тбилиси.

Приведем полностью первоначальный текст очерка, каким он был написан Горьким, отвечавшим на вопрос М. Л. Слонимского в 1919 году.

«Гиго Читадзе, грузин, сын крестьянина, один из первых пропагандистов марксизма среди тифлисской молодежи и рабочих. Был весьма популярен именно среди рабочих, имел знакомства с русскими (Горький зачеркнул «русскими»). — Г. Г.) революционерами народольцами Гамкрелидзе. Джабадари, Любатович, Зданович и др.

От усиленной работы, занятий и голода сошел с ума *mania grandiosa*. В течение трех недель его не принимали в больницу; сначала около него поочередно дежурили товарищи, потом они разбежались утомленные, испуганные от (Горький зачеркнул «от»). — Г. Г.) припадками его безумия, избитые им. Мне пришлось провести один на один с ним девять дней — это было очень страшно. Несколько раз он пытался убить меня. Он намазывал грудь себе ваксой, чистил ее щеткой, говорил, что у него горит сердце, и гасил его, прикладывая на грудь тряпку, смоченную в помойном ведре. Однажды (у Горького написано «однажде»). — Г. Г.) чуть не убил квартирную хозяйку, женщину с бородой, другой раз сбросил с лестницы полицейского. Схватил в припадке безумия одного рабочего-старика за щеки и содрал с них кожу, — старик глазом не моргнул, а Читадзе кричал

мне: «Видишь, как любит меня народ мой?!»

Несколько раз мне приходилось связывать его, тогда он с хитростью безумного начинал плакать, жаловался, что ему больно, я подходил развязать его — он плевал в лицо мне и хохотал, если удавалось попасть. Он был очень силен, чтобы ослабить его, я дал ему лошадиный прием глауберовой соли, что облегчило мое положение. Наконец его все-таки принесли в больницу. Когда он вошел в общий зал и увидел там князя Абашидзе, тоже душевнобольного, он ударил его по лицу, крикнув: «Это за моего отца». Абашидзе убил отца Читадзе, который был его крепостным, когда Гиго было только пять лет.

Через три дня Гиго Читадзе служители больницы сбросили с лестницы. осколком ребра ему поранило сердце, и он умер. Его торжественно хоронили, было много молодежи и рабочих, поп. молодой грузин, сказал трогательную речь.

Гиго Читадзе дал мне тему рассказа «Ошибка».

Тут же Горький приписал: «Я никогда ничего не записывал в тетради. Стихи — писал и, будучи всегда недоволен ими, уничтожал их»⁷.

Этот очерк М. Л. Слонимский почти без изменения включил в первый вариант хроники биографии пролетарского писателя, сохранив даже повествование от первого лица. Отпечатанный на машинке текст хроники он дал прочитать Горькому, который тщательно его исправил, сделав ряд значительных вставок и даже написав отдельные страницы. Вернулся он и к тексту очерка о Г. Читадзе. Прежде всего Алексей Максимович просил Слонимского привести очерк в третьем лице. «Пожалуйста — не от первого лица», — приписал он вдоль текста и сам везде исправил первое лицо на третье. Это весьма значительное исправление, которым Горький придавал своим воспоминаниям очерковый характер, что немаловажно для определения степени достоверности фактов, указанных в очерке. Разумеется, он не претендовал на документальную точность отмеченных им эпизодов. Поэтому приходится удивляться не тому, что память Горького кое-где допускает незначительные отклонения от фактов, имевших место в действительности, а тому, что почти четверть века спустя он смог так подробно воспроизвести переживания юности.

Свое суждение о прототипе Кравцова М. Л. Слонимский начинал словами: «Читадзе — это очень интересная фигу-

⁵ М. Горький. Полное собрание сочинений. М., 1968, т. I, стр. 101.

⁶ Там же, стр. 587.

⁷ Архив А. М. Горького. ХПГ — 7 — 6 — 1. Текст очерка ранее публиковался в сокращении и с ошибками.

ра. Горький дал мне о нем такую справку:

— Гиго Читадзе, сын крестьянина...»

Из этой фразы писатель зачеркивает слова: «Горький дал мне о нем такую справку: — Гиго Читадзе...»; имя Читадзе он ставит в начале фразы и снимает абзац.

Весьма характерно другое исправление Горького в тексте очерка. Там, где говорится о народолюбцах, с которыми общался Г. Читадзе, он вносит существенную конкретизацию, определяя их как «...осужденных по процессу 50-и». Этим автор подчеркивал принадлежность Г. А. Читадзе к той группе революционных интеллигентов 70-х годов прошлого столетия, которые ему весьма и весьма импонировали на протяжении всей жизни. Далее Горький изымает из текста очерка слова: «Это было очень страшно» и в предложении «...молодой грузин сказал трогательную речь» восстанавливает пропущенное Слонимским определение «поп»⁸.

Однако интерес Горького к тексту очерка этим не исчерпывается. М. Л. Слонимский, учитывая его замечания и исправления, заново перепечатал весь материал и снова отнес его писателю для просмотра. Горький опять не удержался и внес в текст хроники ряд правок, местами очень существенных. Вернулся он и к очерку о Читадзе, исправив искаженное написание фамилии «Гамкрелидзе» (это он делал вторично), восстановив пропущенное «...процессу 50-ти», переделав повествование в первом лице на третье (это был единственный случай восстановления Слонимским первого лица), вычеркнув слова: «это облегчило его положение»⁹.

В литературе о Горьком до сих пор остается нерасшифрованной его приписка к тексту очерка о Г. Читадзе. Видимо, для М. Л. Слонимского эта приписка не имела принципиального значения, и поэтому, учитывая замечание Горького — «какой смысл», он не вносит ее в текст хроники. А для последующих исследователей она стала просто «загадкой». Горьковеды и поныне ломают голову, каков ее характер, чем вызвано замечание пролетарского писателя и к кому оно относится.

Исследование показало, что М. Л. Слонимский, собирая материал для биографии Горького, доставлял ему выпис-

⁸ Для неосведомленного человека это восстановление может показаться принципиальным. Но Горький, видимо, знал, что Г. А. Читадзе был исключен с последнего курса Тбилисской духовной семинарии, которая являлась очагом передовой революционной мысли.

⁹ См. Архив А. М. Горького, Рав—ПГ—15—2—3; дд. 229—231.

ки из старинных газет, журналов, архивных документов. Горький их тщательно изучал и давал свои пояснения. Когда ему доставили воспоминания Арча и общественного деятеля С. Варташевича Аркадьевича Вартамянца, опубликованные в газете «Бакинские известия» (1903, №12, от 16 января)¹⁰, он вспомнил их автора, с которым познакомился на дежурстве у больного Г. Читадзе, и в основном положительно отозвался о них. Только счел нужным прокомментировать то место, где мемуарист утверждал: «Тетрадей, куда он (Пешков. — Г. Г.) заносил свои наблюдения и впечатления, было у него немало. Писал он много, то стихами, то прозой». В приписке к очерку о Читадзе Горький категорически возражал С. Вартамянцу, да не только ему, что он никогда заранее не делал для своих произведений «заготовок», набросков, планов.

Позже Горький забыл, кто и когдазнакомил его с воспоминаниями С. Вартамянца, но считал их интересными и особенно выделял ту часть, где речь идет о болезни Г. А. Читадзе: «О тифлисской жизни, — пишет он, — есть рассказ д-ра Варташевича, я его не читал, но кто-то говорил мне, что — интересно рассказано о сумасшедшем Гиго Читадзе»¹¹.

Впервые очерк о Читадзе появился в прессе в статье М. Л. Слонимского, напечатанной в мае 1920 года в журнале «Вестник литературы» (№ 4—5). Как видно из этой публикации, М. Л. Слонимский не только исполнил просьбу Горького о повествовании от третьего лица, но ряд мест очерка передает своими словами. Однако это не помешало ему полностью сохранить как общее содержание очерка, так и колоритность литературного повествования.

В 1925 году в Ленинграде в издательстве «Кубуч» отдельной книгой вышли приготвленные М. Л. Слонимским «Материалы к биографии...», но уже под авторством И. А. Груздева и под новым названием «Максим Горький. Биографический очерк (По новым материалам)». Сюда вошел и очерк о Читадзе со второй правкой писателя¹².

Весьма своеобразна история создания и публикации этой первой биографиче-

¹⁰ Эти воспоминания тогда же перепечатали столичные газеты и журналы (см. «Петербургские ведомости», 1903, №21, от 22 января; «Новости дня», 1903, №7049, от 22 января; «Мир божий» 1903 №3, стр. 18—20 и др.).

¹¹ Архив А. М. Горького, М., 1966, т. XI стр. 125

¹² И. Груздев ту часть биографии, которая не вошла в книгу, опубликовал в газетах (см. «Красную газету» от 26 и 29 сентября 1925 года и «Зарю Востока» от 7, 21 и 30 октября 1925 года).

свой книги о Горьком, созданной уже советским автором. Она положила начало многосторонним документальным исследованиям жизни и творчества великого писателя. Как возник замысел создания хроники жизни и творчества М. Горького, а затем как сложилась судьба «Материала», М. Л. Слонимский рассказал в своем письме к Б. А. Бялику от 4 ноября 1964 года¹³.

Когда М. Л. Слонимский сообщал историю первой советской книги о Горьком, ему не была известна дальнейшая судьба машинописных текстов с правками и дополнениями Алексея Максимовича. Он их считал утерянными. Не знали о них и сотрудники ИМЛИ, которые готовили для печати XI том архива А. М. Горького. Во время работы в архиве писателя в 1969 году мне повезло разыскать этот материал. Он поступил в архив Горького с фондом И. А. Груздева и значился за ним как «первый» и «второй» варианты его книги «Горький и его время». Там же были, разумеется, неопубликованные заметки и отдельные листки, написанные рукой самого Горького. Анализ и сличение машинописных текстов с уже опубликованными отрывками «Материалов», а также с изданием «Кубуча» с несомненностью показали, что эти тексты принадлежат не Груздеву, а Слонимскому. Когда я ему сообщил об этом и попросил разъяснить, как все это случилось, он любезно откликнулся и уже в марте 1970 года написал мне: «...Первый вариант (как Вы называете его) — рукопись биографии Горького с пометками Горького — моя рукопись 1919—20 годов, которую Груздеву я отдал вместе с версткой (несколько позже верстки)... Все это мои материалы, моя работа, которую я отдал (фактически подарил) Груздеву».

Далее Михаил Леонидович Слонимский предельно убедительно разъясняет и судьбу «второго варианта». Он тогда же допускал, что и эта рукопись должна принадлежать ему. «О «втором варианте», — писал он, — скажу так. Горький мог вносить свои поправки либо до своего отъезда в 1921 году, либо в 1928 году и позже, я дал Груздеву материалы после отъезда Горького, вышла книга в «Кубуче» в 1925 году. Когда же мог Горький вносить в этот «второй вариант» поправки? Адекватен ли он первому? Кроме биографии, я передал Груздеву рукопись свою, в которой говорится о кампании против Горького в России и зарубежных откликах на произведения Горького. Это нечто вроде сводки критических материалов. И на этой моей рукописи Горький тоже

делал пометки. Может быть, ее Вы сочли «вторым вариантом»? Но это дополнение к «первому варианту».

Дальнейшие исследования полностью подтвердили предположения М. Л. Слонимского. Приходится только восхищаться свежестью памяти этого уже не молодого писателя. Однако тот факт, что Горький дважды правил рукописи Слонимского устанавливается сопоставительным анализом. Во «втором варианте» уже заново перепечатанного текста учтены почти все исправления и дополнения, внесенные Горьким в «первый вариант», но и во «втором варианте» встречаются значительные исправления и дополнения, опять-таки написанные рукой Горького, которые отсутствуют в «первом варианте». Отсюда ясно, что Горький два раза принимался исправлять текст «Материалов». Кроме того, во «втором варианте» сохранены отдельные перечеркнутые Горьким места из «первого варианта». На таких страницах рукой М. Л. Слонимского написано «ОСТАВИТЬ». Это относится и к эпизоду казни двух разбойников в Гори. Видимо, М. Л. Слонимский при личной встрече убедил Горького в важности материала. Второй вариант более полный, и действительно повествование доведено до 1911 года.

Интересно и следующее сообщение М. Л. Слонимского. В том же письме он уточняет время личной встречи и знакомства И. А. Груздева с Горьким. «Груздев, — пишет он, — не общался с Горьким до отъезда А. М., не был знаком и не предлагал быть его биографом. Это я ему предложил в 1923 году, а он сразу же и схватился. Написанная мною биография Горького и послужила началом деятельности Груздева как горькововеда».

Здесь М. Л. Слонимский полемизирует с теми исследователями жизни и творчества Алексея Максимовича, которые передергивают литературные факты и нарушают хронологическую точность. Да и сам И. А. Груздев в своем первом письме Горькому не скрывал, что книга, которая выйдет под его авторством, в основном написана Слонимским.

«До этой книги (имеется в виду монография о Горьком, которую собирался писать Груздев. — Г. Г.) выйдет под моим именем другая — биографический очерк листов на 6.

Это не что иное, как работа Слонимского, переделанная мною в популярную книжку с соответственными добавлениями. Признаюсь, меня немало смущало мое на 3/4 фиктивное авторство, но жалко было не использовать материала, а на другие комбинации Слонимский не соглашался. Да и нужно было выпус-

¹³ См. Архив А. М. Горького, том XI, М., 1966, стр. 8—9.

тить этот очерк, не дожидаясь большой книги»¹⁴.

И издатели книги «Максим Горький...» сочли нужным указать: «В работе частично использованы неизданные материалы, собранные Слонимским»¹⁵.

Однако до выхода этой книги, кроме уже упомянутого «отрывка», опубликованного в журнале «Вестник литературы» в 1920 году, из «Материалов» попала в печать довольно большая часть биографии Горького, написанной М. Л. Слонимским. Вот как это произошло: «В «Накануне» в 1923 году (или в 22-м?), — писал М. Л. Слонимский, — какой-то номер должен был издан под моим именем для моей биографии Горького без моего разрешения и ведома. Может быть, отыщите? Там, помнится, гораздо больше, чем в «Вестнике литературы», напечатано из написанной мною биографии Горького. У меня этого номера нет».

В другом письме М. Л. Слонимский более конкретно пишет о причине, по которой его «Материалы» оказались напечатанными в газете, издаваемой в Берлине. «Издатель З. И. Гржебин, — разъясняет он, — который должен был выпустить биографию Горького в Ленинграде (тогда — Петрограде), уехал в Берлин и перенес туда свою издательскую деятельность. Тогда я запретил ему выпускать мою книгу, а затем по просьбе издателя «Кубуч» передал рукопись туда. Но Гржебин без моего ведома дал мою рукопись в газету «Накануне». Узнал я об этом гораздо позже. Номера газеты я не видел, пользуюсь поэтому сведениями третьих лиц.

Таким образом, сведение о напечатании моей рукописи в «Накануне» требует обязательной проверки. Может быть, сведение о напечатании было неверным (хотя не думаю, что это ошибка — но проверка никогда не мешает)».

Действительно, в результате дальнейшей проверки выяснилось, что «Материалы к биографии» были напечатаны не в самой газете «Накануне», а в литературном приложении к ней, которое выходило под редакцией А. Н. Толстого. №20 этого приложения, датированный 1 октябрём 1922 года, целиком посвящен Горькому в связи с тридцатилетием его литературной деятельности. В этом номере приложения напечатаны и «Материалы» М. Л. Слонимского под заглавием «Максим Горький как писатель и политический деятель (Черты

из биографии)». Статья действительно более обширна, чем «Материалы», опубликованные в «Вестнике литературы», и по содержанию в основном представляет другую, ранее неопубликованную часть этих материалов. Статья эта имеет примечание от редакции, которое полностью раскрывает причины появления «Материалов» Слонимского в приложении, и что главное, редакция весьма высоко ценит труд первого советского биографа Горького М. Л. Слонимского.

«Книгоиздательство З. И. Гржебина, — читаем в приложении, — любезно предоставило нам подготовляемую к печати книгу Мих. Слонимского «Материалы для биографии Максима Горького». Это — обстоятельно и любовно собранная хронологическая канва для биографии писателя. Не имея возможности использовать целиком богатый материал, который дает книга, и предполагая, что главные биографические данные, касающиеся личности М. Горького, общезвестны, мы ограничились выборкой только тех сведений, которые в хронологическом порядке восстанавливают картину деятельности его как писателя и политического деятеля. Мы привели лишь несколько замечаний, так как приводимые факты красноречиво говорят сами за себя».

М. Л. Слонимский не сразу понял, что ему не удастся «литературоведческое оформление», что писать о Горьком, о писателе, который прошел столь сложный жизненный и творческий путь, дело чрезвычайно трудное, требующее от исследователя полной самоотдачи. Однако М. Л. Слонимский и после того, как понял, что взял на себя непосильный труд, еще долго не расставался с мыслью написать книгу о любимом писателе. Но чем дальше, тем больше убеждался он в том, что за это дело должен взяться человек иного склада, иных способностей. И поэтому уступил свои «Материалы» другому. Такой подход к проблеме создания монографии о художнике пролетариата прослеживается из переписки Слонимского с Горьким. В конце августа или начале сентября 1922 года в его письме, адресованном писателю, читаем: «Альберт Петрович Пинкевич передал мне о Ваших замечаниях по поводу моей книги «О Горьком». Этот отзыв Ваш совершенно правилен, я с ним согласен вполне и считаю, что напечатать книгу в том виде, в каком она написана три года назад, — ни в коем случае не следует. Она написана совершенно не моим голосом, завалена ненужным материалом — вообще это просто бессмысленное нагромождение фактов, не получившее никакой формы. Типичная скучная историко-литературная работа... Тема для меня слишком важна, и я ни

¹⁴ Архив А. М. Горького, том. XI, М., 1966, стр. 19.

¹⁵ И. Груздев. Максим Горький. Биографический очерк (По новым материалам). Изд. «Кубуч», Л., 1925, стр. 2.

как не согласен на всякое, бесцветное, бездарное исполнение этой темы¹⁶. Однако Слонимскому трудно смириться с тем, что он не смог придать книге ту форму, которую ему хотелось. Ведь он так много и так честно трудился, собирая материал, и теперь надо было его приводить в систему, шлифовать детали. Некоторое время спустя М. Л. Слонимский снова пишет Горькому: «Относительно материалов вы правы, но я хочу написать эту книгу. Ваша жизнь для меня пример стоицизма и мужества»¹⁷.

М. Горький отлично понимал, насколько трудную задачу взял на себя молодой литератор. Ведь написать книгу о нем — это значило распустить самые заколдованные узлы общественного и литературного движения сложнейшей эпохи, которая утвердила новую эру развития человечества. А потому с присущей ему осторожностью советовал Слонимскому целиком посвятить себя художественной литературе, интерес к которой у него пробуждался тогда¹⁸.

В дальнейшем судьба рукописи биографии Горького сложилась несколько неожиданно даже для самого автора. З. И. Гржебин решил выпустить книгу в том виде, в каком она была передана ему. Такое решение вызвало законную озабоченность М. Л. Слонимского, который не без волнения в начале марта 1923 года просил Горького посоветовать, как ему поступить. «Из книги, — писал он, — можно сделать просто хронологическую канву, фамилию мою снять и поставить буквы «М. С.» Как вы думаете?»¹⁹.

М. Горький не замедлил с ответом. 13 марта того же года М. Л. Слонимский получил весьма ободряющий ответ (как всегда Горький предельно скромно): «Дорогой мой друг, в конце концов — совершенно неважно, какова будет книга о Горьком, а важно, чтоб Михаил Слонимский писал рассказы. Вполне согласен с Вами: оставьте книгу такой, какова она есть, подпишите ее инициалами М. С., и этим будет кончена канитель, которая мешает Вам работать»²⁰.

Однако еще долго длилась эта «канитель». М. Л. Слонимский принимает

окончательное решение не издавать свою книгу в Берлине, договаривается с И. А. Грузевым, который должен был придать книге соответствующую форму, и она, как мы уже знаем, вышла в 1925 году в Ленинграде. Вот что писал М. Л. Слонимский по этому поводу Горькому 28 апреля 1925: «Вам Федин должен был сообщить, что Серапионовский критик Груздев пишет о Вас большую работу для Госиздата. Я ему передал все имевшиеся у меня материалы и ту свою книгу, которую я писал для Гржебина: ведь все-таки досадно, если б собранный в книжке материал пропал, — а я оказался явно неспособным к серьезной историко-литературоведческой работе. Параллельно он сделал книжку (популярную) — для «Кубуча». Я думаю, что Вы ничего не имеете против этого: Груздев напишет все же толковее и лучше, чем кто-нибудь из нынешних борзописцев»²¹.

Любопытно отметить, что М. Л. Слонимский свое решение передать рукопись книги И. А. Грузеву мотивирует еще веянием эпохи. В письме от 9 марта 1970 года писал он мне: «...Кроме того, романтика того времени: взял да и отдал от щедростей своих. И Горькому так лучше (а я Горького обожал), и способному человеку дал дело в руки. Ведь я прозаик».

Да, И. А. Груздев действительно много сделал для изучения жизни и творчества А. М. Горького. Материалы, добытые Слонимским, он намного обогатил, расширил наше представление о жизни и творчестве великого писателя, расшифровал трудно поддающиеся объяснению страницы многогранной деятельности М. Горького; его выводы и обобщения и теперь звучат актуально. Уже в 1927 году в журнале «Молодая гвардия» (№4) появляется его самостоятельная работа о Горьком, немного позже — его книга «Горький и его время», выдержавшая три издания. Мы ничего не говорим здесь о его многочисленных исследованиях и монографиях. Однако справедливости ради было бы уместно отметить, что рождение первой советской книги о Горьком, в которой получили отражение и грузинские связи пролетарского писателя, непосредственно связано с именем М. Л. Слонимского. Поэтому и не может наука о Горьком обойти молчанием и его заслуги.

¹⁶ «Литературное наследство», том 72, М., 1963, стр. 382.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же, стр. 381.

¹⁹ Там же, стр. 385.

²⁰ Там же, стр. 384.

²¹ Архив А. М. Горького, том XI; М., 1966, стр. 21.



Новое исследование о Галактионе

Писать о Галактионе Табидзе довольно трудно. Имя поэта, сама его жизнь стали легендой. И эта легенда нередко взаимодействует с реальностью. Они дополняют друг друга, помогая по-новому, под иным углом воспринимать события и факты.

Понятен поэтому тот большой интерес, который вызывает каждая новая работа, воспоминание о Галактионе Табидзе. Они проходят сквозь читательский искус — не пострадала ли правда литературных фактов, не нанесен ли ущерб живому облику поэта, запечатлевшемуся в сознании многочисленных его почитателей?

В дни юбилея поэта издательство «Накадули» в серии «Жизнь замечательных людей» выпустило на грузинском языке книгу Реваза Тварадзе «Галактион». В ней начало лирическое сочетается с научным. Сочетание это порой рискованное, особенно когда речь идет о спорных научных вопросах. Но автор с честью справился с этой стороной своей работы. С особо проникновенной теплотой, эмоционально, по-своему толкуя целый ряд произведений Г. Табидзе, написал он главы, в которых повествуется о детстве писателя, о кутаисском периоде его жизни. Не упрощая задачи, Р. Тварадзе пытается разрешить сложные вопросы — раскрыть «духовную эволюцию поэта», указать на определенные «реалии его психологического склада», опираясь при этом на «логическую, а не хронологическую последовательность фактов», исходя из внутренней сути, логики стиха.

Эволюция духовной формации — проблема большой трудности, а тем более когда речь идет об эволюции такого сложного, подчас противоречивого поэта, каким является Г. Табидзе. В короткой рецензии нет возможности проанализировать эту сторону работы Р. Тварадзе. Мы остановимся лишь на тех ее положениях, которые призваны «прокинуть» концепцию, сложившуюся на протяжении десятилетий в грузинском литературоведении. Речь идет о ранних стихах Г. Табидзе, на которые, по мне-

нию автора, критика бездоказательно «клеила ярлык символизма». «Автор настоящей книги, — пишет Р. Тварадзе, — никоим образом не разделяет точку зрения причастности Галактиона Табидзе к символизму или какого бы то ни было влияния на него символизма» (стр. 115).

Смысл суждений Р. Тварадзе сводится к тому, что критика не удосужилась разобраться в истинной природе символизма, откуда, собственно, и пошла версия о символизме раннего творчества поэта.

Отмечая апологию смерти, пессимизма, двойственности, страдания и т. п. как признаков второстепенных, не играющих существенной роли в выяснении природы символизма, автор книги подробно останавливается на изложении религиозных, философских основ мистики (стр. 59, 60, 108, 109, 110, 111, 112, 113) как первоосновы символизма, должествующей стать и основой мировоззрения писателя. Ссылаясь на ряд ранних стихотворений Г. Табидзе, он приходит к выводу, что поэт не верил в существование ирреального, мистического мира, и что даже мистицизм такого русского поэта, как Александр Блок, не более как «рафинированно поданная» литература», и что Андрей Белый не пошел далее антропоморфизма Рудольфа Штейнера, в котором он к тому же не сумел разобраться и создать что-либо свое... (стр. 59, 114).

С такой позиции и решается в рассматриваемой работе вопрос о символизме грузинских поэтов — «голубороговцев» и, в частности, творчества Г. Табидзе. Все то, что многочисленными его исследователями принималось за символы, по убеждению автора, лишь сложные образы, сравнения и метафоры, явившиеся результатом более углубленного, в отличие от обыденного, будничного, постижения поэтом гармонии бытия. Правда, такую «гармонию бытия» Табидзе находит пока только в «сфере поэзии, творчества». «Поэтому, — продолжает Р. Тварадзе, — нас не должна вводить в заблуждение сложная, на пер-

вый взгляд, система образов Г. Табидзе, так как он постигал и выражал самую сущность бытия. И если так уж необходимо такого рода постижения обозначать специальным термином, то смело можно сказать — это «высший реализм (подчеркнуто мной. — Н. Ц.), та ступень творчества, которой мало кто достигал в мировом масштабе» (стр. 120).

Напомним, что в одной из первых глав книги стихи Г. Табидзе 1908—1914 годов были охарактеризованы по преимуществу как ученические, в которых поэт часто еще выступает в роли «подмастерья», следуя образцам грузинской классики. Стихи эти, за некоторым исключением, отличаются, по мнению автора, «примитивностью формы» и в них не до конца определилось поэтическое лицо Г. Табидзе (стр. 75).

С этим трудно согласиться. Как же иначе все это увязать: с одной стороны, несамостоятельные, подражательные стихи, в которых не до конца определилось поэтическое лицо автора, с другой — классификация их как реализма высшего типа?!

Не считая возможным определить раннюю лирику Г. Табидзе или же ее лучшие образцы, как символистскую, автор обозначает ее, пусть условно («...если так необходимо такого рода постижения обозначать специальным термином...»), термином «высший реализм» (?!).

Другое обстоятельство, которое способствовало распространению в литературоведении мнения о символизме раннего Г. Табидзе, — это частое упоминание в стихах грузинского поэта имен европейских и русских декадентов — Верлена, Бодлера, Рембо, Готье, Эдгара По, Бальмонта, Блока и других. Но и это положение, к которому обращались литературоведы, по утверждению Р. Тварадзе, в свою очередь, «крайне беспомощный аргумент».

Давайте, однако, будем последовательны до конца и разберемся в истинном положении вещей. Даже при беглом знакомстве с многочисленными печатными органами грузинских декадентов — символистов, левовцев академической группы — невольно задаешься вопросом: мог ли Галактион Табидзе — один из крупнейших лириков XX столетия — остаться индифферентным к новым направлениям русской и европейской поэзии? Мог ли стремительный, хотя и недолговечный с точки зрения истории (два десятилетия), поток, захвативший грузинскую литературу, совершенно не коснуться его? Разумеется, нет, если мы имеем дело, памятуя слова В. И. Ленина о Толстом, действительно с великим художником, чутко, как сейсмограф, реагирующим на новые веяния эпохи и

ее эпицентры, на то новое, что она приносит в структуру поэтического образа. В ходе анализа того или другого литературного явления, следует рассматривать его в целом с учетом всех элементов, составляющих его природу. Поэтому при попытке выяснить природу символизма едва ли правомерно ограничиваться, при всем ее удельном весе, мистиной как первоосновой символизма. Автор книги «Галактион», кроме того, не учитывает в должной мере и такой важной, на наш взгляд, стороны символизма, как эстетическая, с которой началось само движение и от которой оно потом отклонилось, увлекшись религиозно-философским обоснованием своих художественных тенденций. Здесь уместно будет напомнить одно глубоко верное высказывание Б. М. Эйхенбаума: «...Первоначальное объединение «символистов» в одну поэтическую школу произошло на основе конкретных художественных принципов, возникших в борьбе за новое искусство, а не на основе отвлеченных религиозно-философских теорий. Символизм как отвлеченная теория явился позже — в качестве мотивировки, оправдания, и именно тогда, когда художественные принципы утеряли свою первоначальную и для всех убедительную свежесть»¹.

Грузинский символизм, как известно, явление более позднее, чем европейский и русский, поэтому наряду с национальными, специфическими его особенностями следовало учесть и эти художественные принципы.

Остановившись на истоках ранней лирики Галактиона Табидзе, Р. Тварадзе отмечает влияние на его поэзию творчества Н. Бараташвили, И. Чавчавадзе, А. Церетели; из немецких поэтов — Гете, из русских — Лермонтова. Это обстоятельство, как верно замечает автор, несколько не умаляет значения великого грузинского поэта, его национальной самобытности. Но в ходе дальнейшего изложения Р. Тварадзе почему-то отступает от этого справедливого положения, нарушая логическую последовательность собственных суждений. Сошлемся только на один пример. Как было отмечено выше, обращение поэта к европейским и русским декадентам, «крайне беспомощный», по мнению Тварадзе, аргумент, благодаря которому исследователи рассматривали раннюю поэзию Г. Табидзе в русле символистской поэзии.

В седьмом томе академического издания сочинений Г. Табидзе напечатано двенадцать переводов грузинского поэта из Поля Верлена. Как установил И.

¹ Б. Эйхенбаум. О поэзии. Л., 1969, стр. 78.

Лорткипанидзе², целые строфы из поэзии П. Верлена вошли как оригинальные стихи в творчество Г. Табидзе, а стихотворение «Схвиси сиспетаке упро агижებს» («Непорочность других сводит с ума») также включено как оригинальное в собрание его сочинений (см. т. II, стр. 289). Так в процессе перевода грузинский поэт приобщился к «певучей силе» верленовских стихов, глубоко запавших ему в память. Неужто в самом деле это такой «беспомощный аргумент», что его не следует брать в расчет?

Постичь все многообразие необычайно богатого поэтического мира Галактиона Табидзе — ближайшая задача нашего литературоведения.

В монографии Р. Тварадзе имеется целый ряд ценных, интересных наблюдений, явившихся результатом глубокого проникновения автора в поэзию Г. Табидзе. Это, в первую очередь, относится к хронологической классификации стихотворений грузинского поэта. Известно, что Г. Табидзе при подготовке его очередного сборника произвольно датировал стихи, затрудняя тем самым установление точных дат их написания. Авторским коллективом, готовившим академическое издание двенадцатитомного собрания сочинений поэта, сделана в этой связи большая работа, но и здесь

² И. Лорткипанидзе. Хроника жизни Галактиона Табидзе. Тбилиси, 1968, стр. 144—145.

многое еще представляется спорным. Поэтому те существенные коррективы, которые вносит Р. Тварадзе, подвергая многие стихотворения десятилетиям стилистическому анализу (ряд из них автор относит к двадцатым, началу тридцатых годов), несомненно, ценны и должны быть учтены при рассмотрении этапов эволюции творчества Г. Табидзе.

Сегодня, когда нам впервые открылась новая сфера творческой деятельности Галактиона Табидзе — переводческая, когда в нашем распоряжении его переводы из Поля Верлена, Виктора Гюго, Сюлли Прюдома, Теофила Готье, Хосе-Мария Эредия, мы погрешим против истины и тех фактов, которые сыграли известную роль в формировании его поэтического таланта, если попытаемся свести их к простому упоминанию в лирике поэта. Усвоение опыта мировой эстетической культуры ставило Г. Табидзе в ряд с видными представителями европейской и русской поэзии.

Несмотря на несогласие с рядом положений работы Р. Тварадзе, было бы неверным не отметить с чувством благодарности появления этой нужной и содержательной книги. Имя Галактиона Табидзе давно уже стало в Грузии живой легендой, которая передается из уст в уста. о нем будет написано еще немало исследований. Появятся новые переводы его стихотворений на языки народов мира, и поэт предстанет перед самым широким читателем во весь свой исполинский рост.

Нугзар ЦХОВРЕБОВ

С ПОЗИЦИИ ЗАХВАЛИВАНИЯ

Речь пойдет о монографии Никиты Воронова «Элгуджа Амашукели» (изд. «Советский художник»). Эту богато иллюстрированную книгу на русском языке об известном грузинском скульпторе следовало бы только приветствовать, не будь тех досадных ошибок и просчетов, которые она содержит. Принципиальные ошибки и фактические неточности, поверхностный анализ, неумеренные похвалы, отсутствие профессиональной глубины суждений умаляют положительные стороны этого труда.

Ошибки, свойственные книге Н. Воронова, связаны не только с оценкой творчества Э. Амашукели. К сожалению, автор монографии искажил и обеднил всю историю грузинского пластического искусства XX века. Но поскольку неверное понимание истории новой и советской грузинской скульптуры орга-

нически связано с общей концепцией этого труда, коснемся сначала некоторых ее сторон.

Автор труда считает, что «Амашукели сумел преодолеть глубоко укоренившееся понимание городского памятника и создать произведения новаторские, но не отрицающие традиции лучших творцов монументальной пластики прошлого» (стр. 50; выделено черным мною здесь и ниже. — М. Д.).

Речь, таким образом, идет о всей истории мирового искусства, в которую Э. Амашукели, по мнению Воронова, вошел как истинный новатор, преодолевший «глубоко укоренившееся понимание городского памятника». Но ведь такое понимание формировалось веками! И сам Н. Воронов не отрицает, что Э. Амашукели при всем своем новаторстве не нарушает традиции «лучших творцов

монументальной пластики прошлого». Не очень ли легко раздает автор монографии аттестации на бессмертие? Думается, и сам Элгуджа Амашукели испытывал неловкость, читая о себе умеренно-восторженные строки: «В творчестве Амашукели мы имеем дело не просто с талантом. Это нечто большее и значение его творчества перерастает рамки грузинской культуры. Это новое направление в нашем монументальном искусстве...» (стр. 48 — 49).

Вместо того чтобы раскрыть и показать читателю, в чем особенность работ скульптора, исследователь ограничивается высокопарными словами: «В его вещах присутствует **новое понимание монументальности, новый историзм, новое претворение современности**» (стр. 5).

Утратившему чувство меры автору монографии даже эта непомерная оценка кажется недостаточной. Он старается предвосхитить будущее действительно одаренного скульптора: «И эта новизна, — пишет Воронов, так и не сумевший убедительно показать, в чем же, собственно говоря, заключается эта «новизна», — делает работы Э. Амашукели достоянием всей советской культуры, а в скором времени, возможно, и общечеловеческой культуры».

Конечно, хочется верить во все это, но нужен ли подобный рекламно-восторженный тон и столь чрезмерное восхваление многообещающего и талантливого скульптора, у которого, как говорится, все еще впереди и который пока еще не создал всего того, на что он способен?

В Советском Союзе работает множество мастеров монументальной скульптуры, представителей разных поколений. Почти во всех республиках, в том числе и в Грузии, создаются замечательные произведения в этой области искусства. Категорически утверждать, что **«самым сильным представителем»** нового направления городской монументальной скульптуры **«сегодня является Элгуджа Давидович Амашукели**, мягко говоря, нескромно.

Задача советской общественности, советской художественной критики, всего нашего искусствознания представляется автору монографии вот так: «...наша задача, очевидно, состоит в том, чтобы поддержать, создать благоприятные условия для дальнейшего развития не просто многообещающего таланта одного мастера», а всего того «нового направления в городской монументальной скульптуре», которую представляет и возглавляет Амашукели (стр. 50).

Что общего имеют подобные заявления с вдумчивым, глубоким, объективным, принципиальным и научно-критическим освещением творчества действительно талантливого мастера? Н. Воронов ошарашивает читателя и такой небылицей: памятник Вахтангу (Вахтангу Гор-

гасали. — М. Д.) не просто очередное произведение скульптора, а завершение **большого жизненного этапа** и вместе с тем вступление в пору зрелости. А завершением жизненного этапа памятника этот оказывается потому, что «еще четырнадцатилетним мальчишкой Элгуджа Амашукели мечтал поставить конную статую царю Амашукели, своему дальнему предку, когда-то взошедшему на грузинский трон...» Но, как повествует словоохотливый автор, «к чести художника надо сказать, что даже будучи подростком он понимал, что феодальный князек из горного селения Амашукет, появившийся на грузинский трон, — не та историческая фигура, которую стоит увековечить в бронзе» (стр. 8).

Все это сущая небылица! Заметим автору, что в Грузии никогда не было царя по фамилии Амашукели. И, кроме того, никаких таких «князей Амашукели» в Грузии также никогда не было.

Неизвестно для чего понадобилось автору книги возводить современного советского скульптора в княжеское достоинство и представлять его отпрыском царских кровей, извращая ради этого вымысла историю страны?

Н. Воронов до конца верен восторженному тону, взятому с самого начала своего повествования: он хвалит даже те работы Э. Амашукели, которые никак нельзя отнести к творческим удачам скульптора. Таковы, например, эскиз памятника Н. Бараташвили, художественное оформление фриза над входом в станцию имени Руставели Тбилисского метрополитена и некоторые другие. Удивляет и странная трактовка памятника Вахтангу Горгасали. Во-первых, «горгасалом» Вахтанга прозвали не потому, что голова его походила на «волчьего голову». Такое прозвище дали ему из-за шлема, который он носил (на нем была изваяна волчья голова). Во-вторых, чтобы объяснить нарочито грубые черты лица скульптуры и тем самым «оправдать» ее автора, он оказывает ему медвежью услугу, утверждая, что памятник Вахтангу, дескать, должен был иметь такую голову, чтобы ни у кого не вызывало сомнения, что «именно такое **вместительное царственных дум можно назвать «волчьей головой»**. По мнению автора книги, создавая памятник, скульптор имел в виду именно такого грозного варвара с «волчьей головой». Н. Воронов пишет: «Амашукели не последовал гуманному завету Пушкина: «Оставь герою сердце! — Что же он будет без него? — Тиран...». Скульптор не боится этой жестокой правды. У Вахтанга **резкие, характерные, запоминающиеся черты: горбатый нос, костистый череп, маленькие уши хищника**». И, по мнению Воронова, благодаря именно такой трактовке образа основателя г. Тбилиси «по-

лучается **воображаемый и достоверный портрет**» (стр. 17).

А вот пример, мягко говоря, непрофессионального (чтобы не сказать — банального) суждения: «Но в то же время жест (поднятая рука царя. — М. Д.) выражает и некоторое ожидание. Издали, когда мы не различаем лица и видим на горе только силуэт всадника с поднятой рукой, этот жест воспринимается как вполне современный жест приветствия, а гостями, уезжающими из Тбилиси, он может быть воспринят и как знак прощания. Итак, можно отметить **сложность, неоднозначность жеста**» (стр. 17).

Увлеченный такими курьезными откровениями, автор монографии не смог углубиться в вопросы, наиболее интересные для характеристики творческого метода, художественного мастерства, исполнительской манеры скульптора. Хотя он часто повторяет, что Э. Амашукели — «уже отказался от **одних приемов и утверждает другие**» (стр. 15), или, что «найденные Амашукели детали-символы и жесты уже достаточно прочно начинают входить в нашу скульптурную практику» (стр. 39). Но от каких конкретно приемов отказался скульптор или **какие** его приемы начинают входить в общесоюзную скульптурную практику, он так и не говорит. Нельзя же, действительно, поднятую руку Вахтанга считать находкой скульптора, а если к подобному решению прибегнет другой кто-либо, считать это «чисто внешней подражательностью» Э. Амашукели, как это делает Н. Воронов (стр. 49).

Вот, к примеру, суждения Н. Воронова о своеобразии «способов», свойственных скульптору: «Посмотрите (...), как в памятнике Славы голова утверждена на шее, а последняя — на плечах. А эта **построенность** придает впечатлительные непоколебимой надежности, вечности. Эта архитектурность во многом определяет монументальность памятника Амашукели. **Конструктивность и построенность фигур — особое кредо мастера. Его способ лепки во многом идет именно от этого конструктивного начала**» (стр. 34).

Но разве **построенность и конструктивность** в монументальной скульптуре — это особое «кредо» одного лишь Э. Амашукели?

Будь Н. Воронов истинным доброжелателем талантливого грузинского скульптора, он должен был заострить внимание на том, что Э. Амашукели, как и всем художникам нового поколения, требуется еще немалая работа для полного постижения мастерства реалистической скульптуры, для достижения правдивости в образном раскрытии внешнего мира, в оттачивании собственного пластического видения.

Э. Амашукели, делает «открытие» Н. Воронов, работает только пальцами.

«Только руками я могу чувствовать форму», — говорит художник... «Лепить можно только пальцами». Что и говорить, странное «открытие»...

Или такие строки: «Амашукели всегда работает по воображению. Он говорит, что последний раз лепил с натуры на третьем курсе академии. Наверное, это не совсем так, потому что в аспирантуре он тоже работал с натуры, но в общем-то сегодня опирается только на свои знания и представления о человеке или животном, а не на реальные модели» (стр. 33).

Неужели Н. Воронов серьезно думает, что в реалистической советской скульптуре правда жизни, правда объективного мира и правда искусства находятся в таком противоречии, что художник должен отказаться от натуры, или же мы должны хвалить Амашукели за то, что все его фигуры «неправильны или неверны с точки зрения анатомических пропорций»!

«Амашукели говорит, — сообщает нам Н. Воронов, — что поскольку он работает пальцами, а не стекой, то он может лепить даже с закрытыми глазами — ибо он строит, а не рисует тела» (стр. 41). Выходит, будто только Амашукели строит фигуры, а все остальные скульпторы рисуют, а тем, кто строит, оказывается, глаза не нужны!

Автор книги придает работам Амашукели такую претенциозность, с которой вряд ли согласится сам скульптор, отличающийся, кстати, большой скромностью и выдержанностью. Говоря о памятнике великому грузинскому поэту Н. Бараташвили, которого Амашукели изобразил с «как бы молитвенно положенными на колени руками», чтобы оправдать спокойную позу поэта бури и натиска, Н. Воронов пишет, что поэзия Н. Бараташвили «отличают ноты пессимизма, мотивы одиночества, настроение мировой скорби» (стр. 29), обходя молчанием то обстоятельство, что поэзия Н. Бараташвили полна мятежного духа, могучего порыва, пламенной страсти, желания борьбы со всем косным и отживающим.

И что главное, оказывается, лишь Амашукели во всей Грузии понял сущность и характер поэзии Н. Бараташвили. «Переворачивая привычные стереотипы укоренившихся представлений о Бараташвили, скульптор силой своего таланта заставляет нас верить в созданный им образ, заставляет глубже и **тоньше** понять творчество поэта». Оказывается, до Э. Амашукели существовали какие-то ложные укоренившиеся представления о великом грузинском поэте, которые Э. Амашукели смело «перевернул» и помог нашей общественности «глубже и тоньше» понять творчество поэта» (!).

Можно было бы привести еще немало примеров поверхностных и ошибочных суждений Н. Воронова, но ограничимся уже сказанным, поскольку мы хотим остановить внимание на более общих взглядах автора монографии, побудивших нас выступить с этой статьей.

Вот один из абзацев, содержащий несколько неверных положений. Н. Воронов пишет: «Станковая и монументальная скульптура в Грузии — явление сравнительно молодое. Если не вспоминать о древних рельефах и декоративной чеканке, то традиции современной пластики начали складываться здесь лишь в конце XIX века. Во главе школы стояли такие мастера, как Я. Николадзе и Н. Канделаки» (стр. 10).

Итак, автор монографии ограничивает древнейшую историю грузинской скульптуры рамками рельефа и декоративной чеканки. Но ведь это неприкрытое принижение и игнорирование истории грузинского изобразительного искусства, в особенности, дохристианской его истории.

По Н. Воронову, «традиции современной грузинской пластики начали складываться лишь с конца XIX века. Это неверно. Но в данном случае удивляет и другое: во главе школы Н. Воронов ставит имена Я. Николадзе и Н. Канделаки. А ведь известно, что новая грузинская школа была создана лишь Я. Николадзе и никем иным. Именно ему принадлежит заслуга в возрождении грузинской пластики, развитие которой было прервано на целые века. Я. Николадзе до второй половины 30-х годов XX века был единственным профессиональным грузинским скульптором. Н. Канделаки же только в 1926 году заканчивает Ленинградскую академию художеств, приезжает в Тбилиси и начинает работать в Тбилисской академии художеств сперва ассистентом, а затем, с 1927 года, педагогом. Ему как скульптору и педагогу, безусловно, принадлежит большая заслуга в истории грузинской советской пластики. И она столь значительна, что не следует приписывать ему заслуги других.

Приведенный выше фрагмент непосредственно продолжает следующие строки: «В 1930—40-е годы грузинская скульптура постепенно теряла свою самобытность, и происходила некоторая нивелировка творческих манер. Но с конца 1950 годов начинается **подлинный расцвет грузинской пластики**» (стр. 10). Тут же, через несколько строк, названы скульпторы, с именами которых Н. Воронов связывает подлинный расцвет грузинской пластики. Это Э. Амашукели, М. Бердзенишвили, К. Гурули, Г. Кордзахия, М. Мерабшвили, Г. Очиаури и другие. Как видим, здесь назван один из известных мастеров чеканки. Развитие и возрождение этого жанра

действительно относится к концу 50-х — началу 60-х годов нашего столетия. Но ведь в данном случае речь шла о скульптуре, развитие которой **продолжилось** всего связано с именем Я. Николадзе — большого мастера и художника яркой индивидуальности. Кроме того, Н. Канделаки и молодые скульпторы, воспитанники Тбилисской академии художеств, именно в 30—40-е годы создают свои лучшие произведения, отличающиеся творческой индивидуальностью, зрелым мастерством и свидетельствующие о подлинном успехе грузинской советской скульптуры. Вспомним портреты Толбухина, Хорава, Кванталиани и другие работы Н. Канделаки, произведения Т. Абакелия, Н. Церетели, Р. Тавадзе, Г. Сесиашвили, В. Топуридзе, К. Мерабшвили, С. Какабадзе, Ш. Микатадзе, Б. Авалишвили, И. Окропиридзе и других. Разве не произведения этих мастеров прославили грузинскую скульптуру? Сам Я. Николадзе вслед за работами 20-х годов, именно в 30—40-е годы создает свои лучшие произведения, отмеченные творческой зрелостью и высоким мастерством: «Ленин в период «Искры», портрет Шота Руставели (овальный барельеф), портрет И. Чавчавадзе (барельеф обелиска в Цихламури), «Чахрухадзе — поэт и мыслитель XII в.» и другие. Эти творения вошли в золотой фонд советского искусства.

Но все это не мешает Н. Воронову утверждать, что 30—40-е годы были годами **упадка** в грузинской скульптуре, и бестактно пренебречь творчеством всей плеяды замечательных мастеров, воспитанных Я. Николадзе и Н. Канделаки, и даже лучшими произведениями самих этих славных представителей грузинской пластики.

Во второй половине 50-х годов на творческую арену действительно выходит плеяда талантливых скульпторов, многие из которых действительно достигли замечательных успехов. Однако они еще находятся в процессе творческого роста, а некоторые из них еще не свободны ни от подражательства, ни от искусственных поисков. Поэтому, на наш взгляд, неверно считать «расцветом» **грузинской пластики только лишь (sic!) период, связанный с деятельностью скульпторов, которые выступили в 50-х годах, большинство из них, думается, не согласится с этой «теорией»** Н. Воронова.

Разве можно основную причину расцвета советского искусства видеть в том, что в конце 50-х годов, по словам автора, «узкое **догматическое понимание социалистического реализма было преодолено**». Во-первых, как можно узкое понимание некоторыми теоретиками сущности нового творческого метода распространить на все искусство? Во-вторых, ведь не секрет, что

подлинный расцвет советского изобразительного искусства начался именно в 30-е годы, что именно в 30—40-е годы в каждой области грузинской художественной культуры были созданы произведения большой силы и масштаб! Как Н. Воронов объяснит этот факт?

Удивляет особое подчеркивание Вороновым того, что он часами просиживал в мастерской Амашукели, беседовал с ним и наблюдал за его работой. «Эти часы, это наблюдение за скульптором в процессе работы, разговоры с ним, обмен мыслями, его замечания и толкование собственных работ, а также тех или иных проблем искусства — все это дало очень многое автору этой монографии» (стр. 9). Видимо, автор монографии хочет часть ответственности за свои «теории» возложить на самого скульптора, но нам кажется крайне маловероятным, чтобы кто-нибудь, хоть мало-мальски знающий историю грузинского изобразительного искусства, а тем более Э. Амашукели, мог иметь такие странные суждения о затронутых в книге «проблемах искусства».

Для подлинного художника есть один-единственный путь к признанию — упорный труд, помогающий овладеть всеми тайнами мастерства и художественной правды, проявление высокой требовательности к себе, подлинная гражданственность, глубокое проникновение поистине в величайшие творческие прин-

ципы нашего времени и на основе этого — выработка яркой творческой индивидуальности. Было бы хорошо, если бы Н. Воронов хотя бы вскользь указал что-нибудь по этим вопросам.

Из приведенных нами примеров явствует, что данный труд Н. Воронова стоит на низком теоретическом уровне.

Читаешь книгу Н. Воронова, и невольно напрашивается вопрос: кем и когда была она рецензирована и с полной ли ответственностью отнесся рецензент к своим обязанностям?

Было бы неплохо, если бы всесоюзные издательства, и в частности издательство «Советский художник» издавая книги об изобразительном искусстве народов СССР, обязательно консультировались с соответствующими научными организациями республик. В Грузии таких немало. Например, кафедра истории и теории искусства Тбилисского госуниверситета, отдел изобразительного искусства Института истории грузинского искусства АН Грузинской ССР, кафедра истории изобразительного искусства Тбилисской государственной Академии художеств, секция критиков Союза художников Грузинской ССР, отдел современного и дореволюционного искусства Государственного музея Грузинской ССР, отдел изобразительного искусства при факультете искусства Тбилисского госуниверситета и другие. Хочется верить, что наши пожелания будут учтены.

Мамия ДУДУЧАВА



Сдано в производство 24 января 1974 г. Подписано к печати 26 февраля 1974 г.
6 печ. листов, ул. листов 8,4. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆.

6 11/48



Цена 40 коп.

ИНДЕКС
76117

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა